

Какъ я была маленькой.

изъ
воспоминаній
ранняго
дѣтства

В. В.
Желтковой

изданіе
А. Ф. Девриена.
СПБ.

Том. Трѣ.



Как я была маленькой

(Из воспоминаний раннего детства В. П. Желиховской)

Оригинал можно читать здесь

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_002675616/



I.

Первыя воспоминанія.



Знаете ли вы, дѣти, какъ я помню себя въ первый разъ въ жизни?.. Помню я жаркій день. Солнце слѣпнеть мнѣ глаза. Я двигаюсь,—только не хожу, а сижу, завернутая въ деревянной повозочкѣ и покачиваюсь отъ толчковъ.

Кто-то везетъ меня куда-то...

Кругомъ пыль, жаръ, поблеклая зелень и тишина, только повозочка моя постукиваетъ колесами. Мнѣ жарко. Я жмурюсь отъ солнца и, лишь вѣхавъ въ тѣнистую аллею, открываю глаза и осматриваюсь. Предо мной большой домъ съ длинной галлереей. Какой-то старый солдатъ, завидѣвъ меня, издали улыбается и, взявъ подъ козырекъ, кричитъ: — «Здравія желаемъ кривоногой капитаншѣ!..»

Кривоногой капитаншѣ! — вѣдь это

Какъ я была маленькой. 2-ое изд.

1

Первые воспоминания

Знаете ли вы, дети, как я помню себя в первый раз в жизни?.. Помню я жаркий день. Солнце слепит мне глаза. Я двигаюсь, -- только не хожу, а сижу, завёрнутая в деревянной повозочке, и покачиваюсь от толчков.

Кто-то везёт меня куда-то...

Кругом пыль, жар, поблёкшая зелень и тишина, только повозочка моя постукивает колёсами. Мне жарко. Я жмурюсь от солнца и, лишь въехав в тенистую аллею, открываю глаза и осматриваюсь.

Предо мной большой дом с длинной галереей. Какой-то старый солдат, завидев меня, издали улыбается и, взяв под козырёк, кричит:

-- Здравия желаем кривоногой капитанше!..

Кривоногой капитанше? -- ведь это обидно, не правда ли? Я сообразила это позже; но в то время я ещё не умела обижаться. Няня вынула меня из повозочки и понесла... купать.

Много времени спустя я узнала, что это было в Пятигорске, куда мама привезла меня лечить и жила вместе с бабушкой и тётями, которые сюда приехали из другого города для свидания с нами.

Мне был всего третий год...

Не диво, что это **первое** моё воспоминание.

Всякий день моя няня, старая хохлушка Орина, возила меня на воды купать в серной воде; а потом меня ещё на целый час сажали в горячий песок, кучей насыпанный на маленькой галерее нашей квартиры. Хотя мне был третий год, и я всё понимала и говорила, но не могла ходить. Впрочем, ноги у меня были только слабые, а не кривые, несмотря на прозвание "кривоногой капитанши", данное мне сторожем при купальне. А капитаншей он потому называл меня, что отец мой был тогда артиллерийский капитан.

Воды помогли мне: после Пятигорска я начала ходить.

Не помню, как мы расстались с бабушкой и как ехали домой. Я опомнилась совсем в другом месте, где уже не было родных моих, а всё приходили какие-то офицеры, и один из них высокий, с рыжими, колючими усами, называл себя моим папой... Я никак не хотела этого признать: толкала его от себя и говорила, что он совсем не мой папа, а чужой. Что мой родной, -- **большой** папа (мы, дети, так называли дедушку) остался там, -- с маминой мамой и тётями, и что я скоро к нему уеду...

Помню, что мама часто болела, а когда была здорова, то подолгу сидела за своей зелёной коленкоровой перегородкой и всё что-то писала.

Место за зелёной перегородкой называлось "маминым кабинетом", и ни я, ни старшая сестра, Лёля, никогда ничего не смели трогать в этом уголке, отделённом от детской одною занавеской. Мы не знали тогда, что именно делает там по целым дням мама?

Знали только, что она что-то пишет, но никак не подозревали, что тем, что она пишет, мама зарабатывает деньги, чтоб платить нашим гувернанткам и учителям.

В хорошие дни мы уходили в сад и там играли с няней Ориной или с Лёлей, когда она была свободна.

В дурную же погоду я очень любила садиться на окно и смотреть на площадь, где папа со своими офицерами часто учили солдат. Я очень забавлялась, глядя, как они разъезжали под музыку и барабанный бой; как гремя переезжали тяжёлые пушки, а мой папа на красивой лошади скакал, отдавая приказания, горячася и размахивая руками.

К нам часто приходило много офицеров обедать и пить чай. Мама не очень любила, когда они, бывало, начнут громко разговаривать и накурят целые облака дыма. Она почти всегда сейчас после обеда уходила и запиралась с нами в детской.

Зимою мама стала болеть чаще. Ей запретили долго писать, и потому она проводила вечера с нами. Она играла на фортепьяно, а Антония, молодая институтка, только что у нас поселившаяся, вздумала, шутя, учить сестру танцам. Мне это очень понравилось, и я тоже захотела учиться у неё; но так как я была очень толстая, а ноги всё ещё были у меня слабы, то я беспрестанно падала, желая сделать какое-нибудь па, и до слёз смешила маму и Антонию. Но я не унывала и ещё вздумала учить танцевать свою старую няню Оринку. Бедная хохлушка никак не могла так повернуть ноги, как я ей приказывала; а я ещё была такая глупая девочка, что из себя за это выходила, щипала её за ноги и жаловалась, что у "гадкой Орины ноги кривые!"

Вдруг, сама не помню, как, мы очутились в большом, красивом городе...

Я себя вижу в большой, высокой комнате. Я стою у окна, с апельсином в руке, и смотрю на море. Ух! Сколько воды!.. И не видно, где это море кончается?.. Точно уходит туда, -- далеко-далеко, до самого неба. И какое оно шумливое, беспокойное! Всё бурлит сердитыми волнами, покрытыми белой пеной. У самого берега много качается кораблей, лодок, а вдали белеются паруса. "И как это им не страшно уходить так далеко от берега? -- думаю я, глядя на них. -- Как-то они вернутся?.. Верно утонут!?" И мне так и казалось, что на этих кораблях бедные люди должны уходить "туда", далеко в сердитое море, и навсегда там пропадать.

Мы жили в этом городе целую весну. Я много гуляла с Антонией и с новой гувернанткой-англичанкой. Особенно любила я сходить по широкой лестнице на морской берег и собирать там раковины и пёстрые камешки.

После я узнала, что этот город -- Одесса, и что мама приезжала сюда лечиться.

После этого мы ещё прожили всё лето в очень скучном и грязном польском местечке (где стояла папина батарея), о котором я ничего не помню, кроме того, что раз мне подарили куклу, объявив, что я теперь **большая**, должна учиться читать и писать. Мне пошёл пятый год. Учение, однако, было отложено, и я продолжала только играть, расти, шалить и толстеть.

Сестра, на четыре года старше меня, уже училась серьёзно с обеими гувернантками и музыке с мамою. Но бедная наша мама всё становилась слабее и больнее, хотя трудилась по-прежнему. Ради её здоровья, требовавшего правильного лечения, маме необходимо было согласиться на просьбы бабушки, и мы собрались ехать к ним в Саратов, чему Лёля и я ужасно были рады.

С этого времени я уж лучше помню и начну вам рассказывать по порядку всё своё счастливое детство.

Приезд к родным

Было темно. Наша закрытая кибитка мягко переваливалась со стороны на сторону. Устав от дороги и долгого напрасного ожидания увидеть город, куда всем нам ужасно хотелось скорей доехать, мы все дремали, прислонясь, кто к подушке, кто к плечу соседа. Меня с сестрой совсем убаюкали медленная езда по сугробам, тихое завывание ветра да однообразные возгласы ямщика на усталых лошадях. Одна мама не спала. Она держала меня, меньшую, любимую дочку свою, на коленях; одной рукой придерживала на груди своей мою голову, оберегая её от толчков, другою проделала себе маленькую щель в полости кибитки и, пригнувшись к ней, всё высматривала дорогу.

Мне снилось лето. Большой сад с развесистыми деревьями. Какие большие, жёлтые сливы!.. И как больно глазам от солнца, светящего сквозь ветви!..

Вдруг я проснулась, пробуждённая толчком, и в самом деле зажмурилась от яркой полоски света, пробежавшей по моему лицу.

-- Это что? -- спросила я, вскочив и протирая глаза. -- Что это такое, мамочка?.. Фонарь?

-- Фонарь, моя милая, -- сказала мама, улыбаясь. -- И посмотри, какой ещё большой фонарь!

Она отодвинула полость кибитки, и я увидела много огоньков, а впереди что-то такое большое, светлое, в два ряда унизанное светящимися окнами...

-- Это дом, мама! Какой хороший!.. Кто там живёт?

-- А вот посмотрим, -- отвечала мама. -- Разве ты не видишь, что мы к нему едем?

-- К нему? Разве это такая станция?!

-- Нет, дитя моё, станций больше уж не будет. Разве ты забыла, к кому мы едем? Это город; а это дом папы большого. Мы приехали к бабушке и дедушке.

"Это дом папы большого!" -- подумала я в изумлении. И все мои понятия о дедушке и бабушке разом перевернулись. Мне вдруг представилось, что они верно очень богатые, важные люди; а что этот блестящий фонарь, в котором они жили, должен быть очень похож на дворец царевны Прекрасной, о которой рассказывала мне Антония.

-- Лёля! Лёля!.. -- начала я теребить свою сестру. -- Проснись! Посмотри, куда мы приехали... К дедушке и бабушке!.. Вставай! Да вставай же!..

-- М....м.... -- промычала Лёля. -- Убирайся!..

-- Не сердись, -- сказала ей мама, -- Верочка правду говорит: мы приехали. Посмотри-ка: вот дедушкин дом.

Всё встрепенулось и зашевелилось в нашей тёмной кибитке. Да она уж и не казалась нам тёмной теперь; полость откинули с одного боку, и свет, и шум городских улиц казались нам чем-то волшебным после сумрака, снежной мглы, тишины и нашей долгой скуки.

Мы въехали в каменные ворота большого дома, который я издала приняла за фонарь, и остановились у ярко освещённого подъезда.

Что тут произошло, -- я не могу никак описать! Все и всё перемешалось, перепуталось...

С маминых колен я попала кому-то на руки. На крыльце другие руки какой-то молоденькой барышни, оказавшейся меньшей тёткой нашей, Надей, -- перехватили меня и потащили на высокую, светлую лестницу. В передней было ужасно тесно. Все мы, моя мама, Антония, сестра, горничная Маша, мисс Джефферс, наша англичанка, -- все перемешались с чужими, казалось, мне незнакомыми людьми, и все смеялись и плакали, ужасно меня этим удивляя.

Высокая, очень полная барыня, с добрым и ласковым лицом, в которой я не сразу признала свою дорогую бабушку, крепко обняла мою маму. Другая наша тётя, постарше Нади, тётя Катя, стала на колени перед Лёлей и крепко её целовала. Высокий, седой господин с другой стороны держал маму за руку, обнимая её тоже. Вся эта суэта совершенно сбила меня с толку. Я ничего не понимала, обернулась ко всем спиной и пристально рассматривала какого-то огромного, синего человека, с длинными усами, белыми эполетами и белыми шнурками на груди. Он меня очень занял, этот голубой человек!.. Я боялась его немножко, но больше удивлялась, отчего это он один не смеётся и не радуется, а стоит смирно, вытянувшись у дверей, и смотрит на всё неподвижно, даже не сморгнув глазом?..

-- А где же Вера? Где маленькая Верочка?.. -- вдруг спросила бабушка, оглядываясь.

-- Здесь она! -- отвечал кто-то.

Все расступились предо мной, и высокий, худой господин в сером сюртуке поднял меня с полу и, поцеловав несколько раз, передал на руки бабушке.

Тут только узнала я в нём своего милого папу большого.

-- Дорогая моя Верочка! -- говорила, обнимая меня, бабочка. -- Вот она, какая большая стала, моя крошка!.. Подросла, поправилась после пятигорских вод. Да посмотри же ты на меня!.. На кого это она так смотрит? -- с удивлением обратилась бабушка к моей матери.

-- Верочка! О чём ты думаешь?.. -- спросила мама.

Я откинулась на руках бабушки и всё продолжала пристально глядеть на голубого человека...

-- Кто это такой? -- шёпотом спросила я, указав на него пальцем.

Все обратились в ту сторону, и все громко расхохотались.

-- Жандарм Игнатий! -- закричала, смеясь, тётя Надя.

-- Вот смешная девочка! -- переговаривались все, в беспорядке входя в большой, светлый зал. -- Жандарма испугалась!

-- Я совсем его не пугалась! -- обиделась я, не понимая, чему смеются?

Но мой гнев ещё больше насмешил всех, и я стала переходить с рук на руки. Меня обнимали и целовали без конца до того, что я готова была расплакаться и очень обрадовалась, когда очутилась под крылышком бабочки. Она усадила меня возле себя на высокий стульчик, и все принялись за чай, весело разговаривая.

Разумеется, я равно ничего из этих разговоров не понимала, да и не слушала их.

Сестра всё убегала куда-то с Надей; что-то рассказывала мне, возвращаясь, весело перешёптываясь с нашей тётушкой, которая была немногим старше её самой, но я ровно ничего не понимала и в их рассказах. Я с наслаждением пила свой тёплый чай и рассматривала очень внимательно большие портреты дам и мужчин, которые висели против меня на стене.

У одного из этих господ был тоже голубой сюртук как у жандарма в передней; у него только не было усов, а вместо белых эпалет и шнурков у него были белые волосы, белое кружево на груди и большая белая звезда. Что за странность! Вот и у дамы с розой на плече тоже высокие белые волосы!.. "Отчего это у них у всех розовые щёки и седые волосы?.." -- думала я.

Мне было так хорошо, тепло!..

Лицо моё горело. Перед глазами, смутно глядевшими на портреты моих прабабушек и прадедушек, носились разноцветные круги, искорки, узоры... Наконец, они окончательно слиплись, и голова моя упала на стол.

-- А Верочка-то заснула! -- услышала я над собою и вдруг почувствовала, что кто-то меня осторожно приподнял и понёс...

Мне так трудно было открыть глаза и так сладко дремалось, что уж я и не посмотрела, кто и куда несёт меня, и совершенно не помню, как уложили меня спать.

дѣдушекъ, носились разноцвѣтные круги, искорки, узоры... Наконецъ, они окончательно слиплись и голова моя упала на столъ.

— А Вѣрочка-то заснула! услышала я надъ собою и вдругъ почувствовала, что кто-то меня осторожно приподнялъ и понесъ...

Мнѣ такъ трудно было открыть глаза и такъ сладко дремалось, что ужъ я и не посмотрѣла, кто и куда несетъ меня и совершенно не помню, какъ уложили меня спать.

III.

Крестины куклы.



ного, много счастья и дѣтскихъ радостей помню я въ этомъ миломъ, старомъ домѣ! Хотя въ тотъ пріѣздъ нашъ въ Саратовъ я была такъ мала, что многое слилось въ моей памяти и, быть можетъ, совсѣмъ бы изъ нея изгладилось, еслибъ мнѣ не привелось и въ послѣдствіи долго жить въ этихъ мѣстахъ, съ этими самыми дорогими людьми.

Я уже говорила, что мы называли дѣдушку папой большимъ, въ отличіе отъ роднаго отца на-

Много-много счастья и детских радостей помню я в этом милом, старом доме! Хотя в тот приезд наш в Саратов я была так мала, что многое слилось в моей памяти и, быть может, совсем бы из неё изгладилось, если б мне не привелось и впоследствии долго жить в этих местах, с этими самыми дорогими людьми.

Я уже говорила, что мы называли дедушку папой большим, в отличие от родного отца нашего, который, конечно, был гораздо моложе. Теперь надо ещё сказать, что бабушку мы всегда называли бабочкой.

Почему -- сама не знаю! Но так как я пишу не выдумку, а всю правду о своём детстве, то не могу называть её иначе. Вероятно, объяснение этому прозвищу находилось в том, что бабушка моя, очень умная, учёная женщина, между прочими многими своими занятиями любила собирать коллекции бабочек, знала все их названия и нас учила ловить их.

Оба они, и дедушка, и бабушка, ничего не жалели, чтобы тешить и забавлять нас. У нас всегда было множество игрушек и кукол; нас беспрестанно возили кататься, водили гулять, дарили нам книжки с картинками. Было у нас также много знакомых девочек. Некоторые из них даже учились с нами вместе.

Одну из этих девочек, любимую мою подругу, звали Клавдией Гречинской. К ней в гости я любила ездить, потому что у неё было много сестёр, которые всегда надаривали мне пропасть куколок, сшитых из тряпочек. Этих тряпичных куколок я любила гораздо больше настоящих, купленных в лавках кукол; может быть потому, что сама могла раздевать и одевать их опять в разные платьица, которых у них бывало по несколько.

Вот послушайте, какая смешная история случилась раз со мною из-за такой именно куколки.

Надо вам знать, что дом дедушки, который я ночью приняла за фонарь, был в самом деле большой дом, с высокими лестницами и длинными коридорами. На нижнем этаже жил сам дедушка, и помещалась его канцелярия. На самом верхнем были две спальни: и бабушки, и тётини, и наши. На среднем же почти никто не спал: там всё были приёмные комнаты, -- зал, гостиная, диванная, фортепьянная. Ночью все эти комнаты были совсем темны и пусты. Другая девочка, пожалуй, побоялась бы и пойти туда вечером одна; но я была очень храбрая, и мне не приходило и в голову бояться.

Ну, вот раз я вернулась от Клавдии довольно поздно и привезла с собой в маленькой, качавшейся колыбельке крошечную куколку, спелёнатую в простынки и закрытую красным атласным одеяльцем. Возле колыбели, в стеклянном ящике, в котором она помещалась, лежало бельё и платье куколки; всё такое крошечное, что можно было надеть на мизинец. Ужас, как я была рада и как полюбила свою новую куколку! Всем я её показывала и даже, ложась спать, положила её с собою. Но, прежде этого, когда я прощалась с бабушкой, она меня спросила:

-- А как же зовут твою куклу?

Я сильно задумалась и, наконец, отвечала:

-- Не знаю!

-- Как же это ты позабыла её окрестить? -- улыбаясь продолжала бабочка.

-- Без имени нельзя. Надо её завтра окрестить. Ты меня позови в крёстные матери.

-- Хорошо!.. А как же: ведь надо купель.

-- Нет, купели не нужно. Ты знаешь, что водой нехорошо обливаться. Мы без купели окрестим её Кунигундой...

-- Фу! Кунигунда -- гадкое имя! -- сказала я. -- Лучше Людмилой или Розой.

-- Ну, как хочешь. А теперь иди спать...

Я ушла наверх и легла, уложив с собой куклу, но долго не могла заснуть, всё думая о будущих крестинах без воды и о том, какое выбрать имя?..

Вдруг, среди ночи я проснулась.

Всё было тихо; все давно спали. Возле меня сестра, Лёля, мерно дышала во сне; на другом конце нашей длинной и низкой детской спала няня, Настасья. По всему полу, по стенам лежали длинные, серые ткани и, казалось мне, таинственно дрожали и шевелились...

Я привстала на кровати и осмотрелась.

Тени шевелились, то вырастая, то уменьшаясь, потому что ночник, поставленный на пол очень нагорел, и пламя его колебалось со стороны на сторону.

Я уж хотела лечь, как вдруг вспомнила о кукле, взяла её и начала рассматривать, раздумывая над нею.

"Как тихо!.. Вот бы теперь хорошо окрестить её! Никто бы не помешал. А то днём и воды не дадут... Не встать ли, да в уголку, около ночника и справить крестины?.."

Я тихонько спустила ноги с кровати.

"Нет! Здесь нельзя. Няня или Лёля проснутся... да и воды нет!.. А внизу ведь, в гостиной, и теперь стоит, -- вспомнила я, -- графин, полный воды: бабочке подавали, когда я прощалась, и верно его не убрали... Пойти разве вниз?.. А как услышат?.. Страшно!.. А зато, как там теперь можно хорошо поиграть, одной, в этих больших комнатах! Можно делать всё, что захочется... Пойду!"

Я тихонько прыгнула на холодный пол, надела башмачки, накинула блузу и платочек и взяла куклу.

"А темнота? -- вдруг вспомнила я. -- Как же играть в темноте?.. Внизу ведь теперь нигде нет света".

Я огляделась и увидала на столе огарочек свечи. На цыпочках прокралась я к нему, взяла и, также неслышно, осторожно ступая, перешла комнату и наклонилась, с замиранием сердца, зажечь его к ночнику.

Уф! Как крепко билось моё сердце! С каким ужасом косилась я на спящую няню. Как боялась, чтоб она не проснулась, и как я вздрогнула, перепугавшись не на шутку, когда чёрная шапка нагара, тронутая моим огарком, свалилась с фитиля в ночник и затрещала, потухая...

Насилу я успокоилась и собралась с силой двинуться с места. Сколько раз останавливалась я, со страхом прислушиваясь: не проснулся ли кто, не зовут ли меня? -- я и счёт потеряла! При каждом скрипе ступенек на лестнице, не смея идти далее, я вслушивалась в какой-то странный шум: то был шум и стук моей собственной крови в ушах; а я, слыша, как крепко колотилось у меня сердце, в ужасе останавливалась, думая, что это стучит что-нибудь постороннее!.. Наконец, лестница кончилась. Вот я внизу, в длинном, тёмном коридоре. Я сделалась смелей: здесь уж никто меня не услышит! Я быстро пошла к дверям зала и взялась за тяжёлую медную ручку.

Двери медленно отворились, и я очутилась в огромном, чёрном зале...

Мне что-то стало холодно, и мой огарок, при свете которого этот страшный зал казался ещё черней и больше, крепко дрожал в моей руке, пока я старалась как можно скорее пройти его, к широко отворённым дверям гостиной.

"Ах! Что это?" -- я чуть не упала от испуга на пороге гостиной: из глубины её ко мне шла точно такая же, как и я маленькая, бледная девочка, со свечкой в руках и вся освещённая дрожащим пламенем, большими, испуганными глазами смотрела мне в лицо!.. Я схватилась за дверь и уронила свой огарок...

И девочка тоже выронила свой огарок!..

"Ах! Это я себя увидела, в большом зеркале, против дверей зала... Господи, какая же я глупая!"

Едва придя в себя от страха, ещё вся дрожа, я подняла свой огарочек, -- хорошо, что, повалившись на бок, он не потух.

Ну, вот я и пришла.

Вот и вода, и стакан на столе. Теперь только выбрать местечко и играть себе хоть до рассвета!.. Я сейчас же устроилась в углу, между диваном и печкой, под большим креслом, между ножками которого был мой крестильный зал. Я поставила туда люльку, стакан с водою; вынула куклу и, раздев её, приготовилась помочить её в этой купели. Я видела раз крестины настоящего ребёнка и помнила, что крёстная мать его носит кругом купели три раза. Поэтому я взяла куколку, запела как священник "Господи помилуй!" и начала двумя пальцами обносить её вокруг стакана...

Вдруг мне послышалось за стеной какое-то движение и вслед затем: "Хр-р-р!.." -- захрапел кто-то в передней или в зале, -- я не разобрала!

Я съёжилась и притаилась, забыв о крестинах и о пении и крепко сжав в кулак несчастную куколку. "Вдруг это зверь, -- думалось мне, и у меня снова заколотилось сердце. -- Тот самый страшный зверь, который хотел съесть красавицу в лесу и потом на ней женился!.. И... вдруг он захочет на мне жениться?! Фи! Глупости какие! -- тотчас остановила я себя. -- Ведь я маленькая. На мне нельзя жениться!.. А если это разбойники?.."

"Хр-р-рр!.." -- крепче прежнего раздалось за дверьми. Тут уж я думать перестала и, не помня себя от страха, бросилась на пол, подлезла под диван и забилась к стене лицом.

"Господи! Кто-то идёт!.. Пол заскрипел... Ай-ай! Кто-то дышит!.. Разбойники!.. Нет... Зверь!! Да какой чёрный!.."

В ушах у меня звенело от ужаса, и в глазах стало темно, но я всё-таки одним глазком следила за всеми движениями чёрного зверя. Вот он подошёл к стакану, в который я бросила мою бедную куклу... Ай! Он съест её!.. Нет. Он только понюхал стакан, засопел, страшно фыркнул -- и задул мой огарок!

Вот тут-то был страх! Я лежала под диваном, ни жива, ни мертва, съёжившись в темноте и всё ожидая, что вот-вот облапит меня страшный, чёрный зверь и съест совсем -- с головою. Я хотела закричать, но от страху не могла. Да и кто меня услышит? Все спят наверху, далеко. О! Как я раскаивалась в своей глупости, в том, что ушла сверху сюда ночью, одна...

-- Ах!.. -- закричала я вдруг, почувствовав на лице своём крепкое дыхание зверя, уж подобравшегося ко мне. -- Не ешь меня, милый чёрный зверь! Я отдам тебе всё, всё, что ты хочешь, только не ешь меня!..

Но зверь, не слушая моих просьб, лизнул мне лицо длинным, горячим языком...

Если б у него, вместо языка, показался изо рта огонь как из печки, -- я бы не могла больше испугаться. Я прислонилась беспомощно к стене и готовилась сейчас умереть.

Но... что за чудо? Страшный зверь вместо того, чтобы кусать меня и рвать на части, обнюхал меня всю кругом, ещё раз лизнул мою щеку, зевнул и лёг рядом со мною на пол.

Я немножко опомнилась.

"Что же это за зверь такой?.. -- размышляла я, приходя в себя, словно оттаивая от своего страха. -- Эге!.. Уж не Жучка ли это, наша добрая чёрная собака, что всегда ласкалась ко мне во дворе?.."

Мне вдруг стало страх как весело, даже смешно, но вместе с тем и как будто немножко стыдно.

-- Жучка! -- шепнула я, приподнявшись.

Чёрный зверь поднял голову, послушно подполз ко мне и лизнул мою руку.

-- Жучка! -- закричала я, ужасно обрадовавшись. -- Уж как же ты меня напугала, негодная!..

И я от радости начала обнимать и целовать Жучку в самую морду!.. В это время немножко рассвело. Окна гостиной серыми пятнами вырезались на чёрной стене и чуть-чуть освещали комнату. Я выползла из-под дивана, мимоходом захватив из стакана свою вымокшую насквозь куколку, так и оставшуюся всё-таки без имени, некрещёной, и, не оглядываясь, бегом пустилась из гостиной в зал, оттуда в коридор, на лестницу и перевела дух только в своей кровати.

Тут я закрылась с головою одеялом, потому что вся дрожала, не знаю только, от холода или от страху?.. Свою бедную, чуть не утонувшую, холодную куколку я положила поближе к себе, стараясь согреть её, и, засыпая, крепко-накрепко обещала самой себе никогда больше не вставать по ночам и не делать таких глупостей.

Сладко, крепко я заснула в тёплой постельке, но утром вставать мне было очень стыдно. Жандарм Игнатий, которого голубым мундиром я любовалась в первый вечер нашего приезда, услышав на рассвете шум в гостиной, вышел из передней, где он спал вместе с Жучкой, и увидел, как я бежала по коридору. Он сказал об этом людям, а те передали нашей няне, Настасье. Старушка нашла в гостиной люльку и ящик с платьицами моей куколочки, замоченные опрокинутым стаканом воды, и, подобрав их, вместе со стеариновым огарком, пошла всё рассказать Антонии и маме.

Мама очень испугалась и рассердилась, и крепко бы мне досталось, если б не добрая моя бабочка: она за меня заступилась и взяла с этих пор спать в свою комнату.

Все, однако, узнали о ночных моих похождениях и долго подсмеивались надо мною, а я краснела, когда меня называли "полуночницей".



Даша и Дуняша

-- Послушай-ка, Верочка, -- сказала раз бабушка, входя в диванную, где я играла с двумя дворовыми девочками моих лет, Дашей и Дуней, -- собирайся, -- поедem: я тебя повезу сегодня в дом где много-много девочек.

-- Куда это, бабочка? К Гречинским или Бекетовым?

-- Нет, в этом доме ты ещё никогда не была; там живут и учатся много маленьких девочек. Мы повезём им конфет и пряников: тебе с ними будет весело.

Бабушка вышла.

-- Это верно вас в приют повезут, барышня! -- шёпотом сообщила мне Даша, очень умная и хитрая девочка.

-- А что это такое -- приют? -- спросила я.

-- Это школа такая для бедных, простых детей. Там всё такие же как мы девочки; ещё хуже нас! Не знаю, зачем вам туда? Лучше бы с нами играли.

Я не совсем поняла значение её слов и предложила пока продолжать играть.

Игра наша была очень глупая, но она нас забавляла. Мы ставили соломенный, плетёный стул на солнечное место и называли блестящие кружочки, образовавшиеся на полу под ним, виноградом. Дуня, простенькая, добрая девочка, изображала садовника; я приходила покупать виноград, а бойкая Даша представляла вора: она отдёргивала стул в тень, чтоб кружочки исчезали, -- что означало, что вор украл виноград, и бросалась бежать; а мы вслед за ней, догонять её.

Наконец, устав бегать, мы расположились отдыхать на ковре. Даша первая прервала молчание.

-- И счастливые эти господа, право! -- объявила она, отбросив за плечи свои густые, светлые косы и обмахивая пятью пальцами разгоревшееся лицо. -- Хотят -- спят! Хотят -- играют! Хотят -- едят!.. Умирать не надо!

-- А ты разве не играешь, не спишь и не ешь? -- спросила я.

-- Когда дают -- и ем, и сплю, а не дадут -- так и так! А вам всегда можно: вы барышня!..

-- Хотелось бы и мне быть барышней! -- протяжно заявила Дуня.

-- Ишь какая! Кто ж бы не хотел?.. Были бы мы с тобою барышни, хорошо бы нам жить на свете!..

-- Да!.. Не надо было бы учиться чулок вязать, -- прервала опять Дуня.

-- Какой там чулок! Всё б играли да ели.

-- Ну, что ваш чулок! -- сказала я. -- Нам хуже: нам сколько надо учиться! И читать, и писать, и по-французски, и на фортепьяно играть.

-- И-и! Это весело: этому-то учиться я б рада была! -- сказала Даша.

-- Нет, а я ни за что! -- покачала головой Дуня. -- Страсть, сколько бы надо учиться!

-- Ещё бы! -- важно согласилась я. -- Что такое ваш чулок? -- Глупость, просто! А нам ужас сколько всего надо знать.

-- А вот вы и не будете этого всего знать! -- живо поддразнила меня Даша.

-- Как не буду? Я уж и теперь много знаю...

-- Ну, что вы знаете?.. -- бесцеремонно прервала меня бойкая девчонка. -
- Я, вон, умею чулок вязать, а вы и того не знаете.

-- Зачем мне чулок? -- обиженно протестовала я. -- Я читать должна учиться!

-- Да и читать вы не умеете! Ну, что вы знаете против меня?.. Ну, скажите, что я буду вас спрашивать: откуда на зорьке солнышко встаёт, и куда оно вечером прячется?.. А с чего оно огнём горит? А откуда снег да дождь берутся? А зачем трава зелёная, а цветы разноцветные? Кто их красит, а? Ну, скажите-ка! Отвечайте на всё, что спрашиваю... Ну, что?.. Ан и не знаете!.. Вот и стыдно: ничего-то вы больше меня не знаете. А я больше вас знаю: чулок вяжу!

Пока Даша забрасывала меня вопросами, а я собиралась отвечать ей очень сердито, потому именно, что очень хорошо сознавала, что она права, что я никак не сумею объяснить её вопросов, -- вошла няня Наста с моею шубкой и капором. Даша сейчас же замолчала и присмирела: она была хитрая и перед старшими всегда смолкала; я же, бросив на неё сердитый взгляд, очень обрадовалась, что приход няни выводил меня из затруднения.

Я поехала с бабушкой очень задумчивая.

"Да, -- думалось мне, -- многое нужно мне знать, многому научиться. Нехорошо не уметь ни на что ответить... Вон, Даша спрашивает, отчего солнце светит; откуда берутся снег да дождь? А я и не знаю!.. Ишь, какой снег, славный! Какими красивыми звёздочками он падает, прелесть! И всё разные!.."

И я принялась рассматривать снежинки, которые кружились в воздухе и садились мне на тёмную шубку.

-- Бабочка, -- спросила я, -- отчего это снег падает такими хорошенькими звёздочками? Как они делаются?

-- Бог их делает такими, -- ответила бабушка. -- Он всё в природе сотворил хорошо и красиво.

-- А что это такое -- природа?

-- Природа -- это всё то, что есть на свете Божьим. Вот этот снег; реки, горы, леса; летом трава и цветы; солнце и месяц, -- всё, что мы видим вокруг себя, -- всё это природа, дитя моё.

-- Бабочка, скажите мне: как это солнце восходит и ложится? И отчего это летом тепло, везде зелень, цветы, а зимою холод и снег? И отчего это солнце так ярко горит? -- залпом выговорила я.

-- Что это тебе пришло в голову? -- удивилась бабушка. -- Это трудно объяснить такой маленькой девочке. Вот вырастешь, будешь учиться, -- многое узнаешь. А теперь довольно тебе знать, что всё это создал Господь Бог, который и нас людей сотворил и велел нам пользоваться всей природой, чтоб мы не нуждались ни в чём. Он так устроил, что половину года солнышко долее остаётся на небе, горячее греет землю, и от этого снег на ней тает и на ней вырастают травы, фрукты спеют на деревьях, всё зеленеет и цветёт в лесах, а на полях созревают хлеба: рожь, пшеница, -- всё, что растёт нам на пищу и удовольствие. Эта половина года называется летом, когда бывают длинные, жаркие дни и короткие ночи.

А другую половину года солнце встаёт позже, не подымается на небе высоко, прячется гораздо раньше и почти не греет, а только светит. Вот, как теперь: видишь, как оно стоит низко?..

И бабушка указала мне в ту сторону, где почти над крышами домов блистало красное, но не горячее солнце почти без лучей, так что я легко могла, прищурившись, смотреть на него.

-- Оттого-то зимою дни бывают короткие, ночи длинные, и стоят холода и морозы...

-- Ну, а снег-то откуда же?.. -- прервала я.

-- А разве ты не знаешь, что вода от холода мёрзнет? Вот погляди на Волгу: летом вода в ней течёт, лодки плавают; а теперь по ней люди ездят в повозках и санях и пешком ходят как по земле, потому что она покрылась толстым слоем льда. Ну, вот от холода же и те капли воды, которые летом упали бы на землю дождём, зимою, пока летят, замерзают в воздухе и падают на неё снежинками. Холод же не даёт им растаять, так что много-много таких снежинок, слежавшись на земле, покрывают её как белым одеялом. Снег -- это замёрзший дождь, дитя моё...

-- Да отчего ж снежинки-то все такие узорчатые? -- опять прервала я очень неучтиво. -- Капли дождя -- просто капли, а ведь снег, посмотрите, какими звёздами.

-- Ну, мой дружок, этого нельзя объяснить! -- улыбаясь отвечала мне бабушка. -- Тот кто вырезает листья на деревьях, кто окрашивает и даёт разный запах цветам, тот и эти звёздочки вырезывает. Ты знаешь, кто это делает?..

-- Бог! -- отвечала я очень тихо.

-- Да, моя милая: премудрый и добрый Бог, всё устроивший в мире красиво и полезно.

-- А как же, бабочка: разве зима полезна?.. Лучше бы всегда было лето, всегда росли цветы, ягоды, фрукты!.. Нехорошо, что Бог сделал холодную зиму.

-- Нет, дитя моё: всё хорошо, что сотворил Бог. Он умнее и добрее нас с тобою. Земле тоже нужен отдых, как нам, людям, нужен ночью сон. Зимою земля спит под своим пушистым, снежным покровом. Она сил набирается к лету, чтобы, когда солнышко весной её прогреет, снег растает, тёплый дождичек пройдёт в неё глубоко и напоит в глубине её корни деревьев и трав, -- быть готовой дать человеку всё, что ему от неё нужно. Тогда она и выпустит из себя зелень, колосья, ягоды; всё, что во всю долгую зиму она заготовила внутри себя, под снежным своим одеялом. А мы, люди, всё это будем собирать, заготавливать хлеб и овощи, лакомиться ягодами и фруктами и варить варенья на зиму, чтоб и зимой, когда земля, всё нам давшая, будет отдыхать, было нам, что кушать. А собирая и кушая, будем мы благодарить Бога, всё это для нас создавшего, всё так хорошо, так премудро устроившего.

-- А что это значит: премудро?..

-- Премудро значит очень умно. Вот ты у меня теперь не очень мудрая, потому что маленькая; а когда вырастешь и всему выучишься, ты будешь мудрая.

-- Нет, бабочка! Я никогда, кажется, не буду умная. Чтоб быть умной, надо столько учиться, столько знать.

-- Это не очень трудно, дитя моё! Надо только желать научиться и научишься всему, чему захочешь. Вот мы и приехали: выходи. Посмотрим, как здесь умные девочки хорошо учатся.

В приюте

Мы вышли из саней и вошли в деревянный, одноэтажный дом, где в небольшой передней нас встретила старушка Анна Ивановна, надзирательница приюта. Всё было так тихо, что я думала, что дом совершенно пуст, и очень удивилась, когда, войдя в следующую комнату, увидела в ней более двадцати девочек, смирно сидевших за работой, за длинными чёрными столами. Все они были опрятно одинаково одеты в серые платья, и все как одна встали, когда мы вошли в комнату, и, дружно кланяясь, закричали:

-- Доброго утра, Елена Павловна!

-- Здравствуйте, детки, -- приветливо отвечала бабушка. -- Все ли здоровы? Все ли умны и хорошо учились? Связана ли моя шерстяная косынка?

-- Все здоровы и старались учиться! -- было дружным ответом. -- Косынка почти готова: Зайцева её каймой обвязывает.

Тут хорошенькая девочка, побольше других, встала и подошла показать большой лиловый шерстяной платок, в конце которого ещё торчал её деревянный крючок. Бабушка похвалила работу и сказала, погладив девочку по голове:

-- Спасибо, Зайчик! Я тебе за это привезла капустки. Зайчики ведь любят полакомиться? А вот, посмотрите-ка, девочки, какую я вам привезла подругу: это Верочка, внучка моя. Хотите с нею поиграть?

-- Хотим! Хотим! -- закричали девочки; а мне ужасно хотелось спрятаться за свою бабочку от всех этих незнакомых детей.

Но я воздержалась, вспомнив, что Антония постоянно бранила меня за это.

-- Идите теперь в приёмную, дети, -- сказала им Анна Ивановна, -- играйте там с Верочкой.

Все шумно поднялись, попрятали свои работы и высыпали в зал, где окружили меня со всех сторон. Большие становились передо мной на колени, обнимали и целовали меня; маленькие тянули меня за руки, за платье; трогали мои волосы, бусы, бывшие у меня на шее. Я совсем растерялась и готова была расплакаться, с отчаянием поглядывая на дверь классной комнаты, в которой осталась бабушка. Мне казалось, что они разорвут меня!

Вдруг ко мне подошла та высокая, старшая девочка, которую бабочка называла "Зайчиком".

-- Что это вы делаете? -- прикрикнула она. -- Оставьте Верочку! Зачем вы так окружили и надоедаете ей?.. Подите прочь! Она сама придёт к вам, когда захочет.

Маленькие рассыпались от меня как горох. Осталось только несколько старших. Зайцева взяла меня на колени и успокоила.

-- Хотите картинки смотреть, Верочка? -- спросила она.

-- Хочу, -- отвечала я; хотя мне хотелось только одного: чтоб поскорее пришла бабочка и выручила меня.

Зайцева повела меня за руку в комнату, где стояло рядами много кроватей с чистыми, белыми подушечками и серыми одеялами. Но, когда меня посадили на одну из них, постель мне показалась очень твёрдой, а одеяла ужасно грубы. Все девочки засмеялись, когда я сказала, что одеяла **кусаются**.

-- Кусаются? -- повторяли они, смеясь. -- Нет, ничего! Мы ими ночью закрываемся, и они никогда нас не кусали. Да у них и зубов нет. Кусаются только собаки!..

-- Верочка хочет сказать, что они шершавые, -- объяснила Зайцева. -- Но для нас это ничего не значит: они тёплые, и мы рады, что они есть у нас. Дома нам бы, может быть, и совсем нечем было закрыться зимою.

-- К шёлковым одеялам из нас никто не привык! -- заметила одна большая девочка, вся в веснушках и с острым носом.

Она мне очень не понравилась.

-- Благодарение Богу, что суконные есть! -- отвечала Зайцева, как мне показалось, сердито глянув на неё. -- Если б ваша бабушка, Верочка, сюда нас не взяла и не дала нам всего, многие из нас могли бы с голоду умереть.

-- Как с голоду? -- удивилась я. -- Разве у вас нет повара, чтоб сделать обед?

Все девочки опять надо мною рассмеялись.

-- Как не быть поварам! -- вскричала опять остроносая. -- Жаль только, что варить им нечего.

-- Так что ж! -- сказала я, чувствуя себя обиженной. -- Разве вам **бабочка** обедать варит?

Тут поднялся такой хохот, что все уговоры и сердитые замечания Зайцевой не могли усмирить его. Девочкам показалось уже слишком забавно, что я такую высокую, полную старушку называю **бабочкой**.

-- Какая бабочка? -- говорили они. -- Разве бабочки готовят кушанья?..

Я чуть не плакала и сконфуженно пробормотала:

-- Я говорю про свою бабочку, про бабушку.

-- Разве ваша бабушка летает? -- продолжали они смеяться.

Но тут уж Зайцева окончательно рассердилась и объявила, что если они сейчас не уймут своего смеха и не перестанут говорить глупости, то она пойдёт и скажет начальнице. Девочки поднялись и разошлись, фыркая, по углам; а Зайцева заговорила, обращаясь ко мне:

-- Ваша бабушка такая добрая, Верочка, что другой такой, может быть, и на свете нет! Она обо всех нас заботится: мы ей всем обязаны. Она нас кормит и одевает, и учит. А мне самой -- она всё дала!.. Если б не она -- не только я, а моя мать и маленькие братья и сёстры, -- все бы умерли от холоду и голоду. Мы бедные: отец мой умер, мать болеет. Где ж нам взять денег, чтобы жить?..

-- А разве без денег жить нельзя? -- осведомилась я.

-- Нет, душечка! -- вздохнула Зайцева. -- Без денег нельзя хлеба купить, а без хлеба приходится с голоду умирать. Ну, вот бы мы и умерли, если б бабушка ваша не узнала о нас, и сама не пришла к нам. Пришла и прежде всего нас всех накормила; потом прислала доктора и лекарства моей маме.

Потом меня взяла сюда и двух братьев отдала в школу. Потом матери дала работу, одела всех нас... Вот такая ваша бабушка, Верочка! -- проговорила она со слезами на глазах, и вся зарумянившись.

Я смотрела на неё, притаив дыхание, и слушала, как слушают сказку. Я не понимала в то время причины её волнения, но чувствовала почему-то, что она хорошая, добрая девочка, и спросила:

-- Так ты любишь мою бабочку?

-- Очень люблю, Верочка!

-- А как тебя зовут?

-- Аграфеной. Мать Груней зовёт меня...

-- А мне можно так называть тебя?

-- Можно, милочка. Отчего нельзя?.. Зовите и вы.

-- Груня!.. А зачем ты говоришь мне вы?.. Это нехорошо. Я так не люблю! Говори, пожалуйста, ты!..

-- Хорошо... Если только ваша мамаша не рассердится.

-- Вот ещё! Что ей сердиться? Мне все ты говорят. Это какая у тебя книга? Покажи.

Зайцева вынула из маленького сундучка, стоявшего под её кроватью, хорошенькую книгу, но, держа её в руках, совсем забыла, что хотела показать картинки. В книге оказались разные звери и птицы, одетые людьми; под каждым рисунком была подпись в стихах, часто очень смешная. Груня читала мне их, а я смеялась, глядя на картинки.

-- А сама ты не умеешь ещё читать? -- спросила она.

-- Нет, -- отвечала я, очень покраснев. -- Мне нет пяти лет: мама говорит -- рано!

-- Разумеется! Ты ещё совсем маленькая... Я думала, что ты старше.

-- А тебе сколько лет, Груня?

-- О! Я старуха. Мне двенадцать лет. Больше чем вдвое против тебя.

Я очень полюбила Груню Зайцеву и начала просить её непременно придти ко мне поскорее в гости.

-- Поскорее нельзя! -- улыбаясь отвечала она. -- Нас выпускают только в воскресенье и праздники.

Я стала по пальцам считать, сколько ещё дней осталось до воскресенья, и мне показалось, что оно так далеко, что никогда не настанет. Зайцева смеялась, утешая меня, что три-четыре дня скоро пройдут. Тут вошла бабушка с Анной Ивановной, и я бросилась просить её, чтоб Груня пришла ко мне в воскресенье в гости.

-- Какая Груня? -- переспросила бабушка. -- А! Зайцева?.. Вот как, вы подружились. Ты вот кого проси!

И бабушка легонько повернула меня к начальнице приюта. Та согласилась легко, и я бросилась от радости целовать Груню.

-- А как же, Верочка, мы с тобой забыли наше угощение? -- сказала бабушка. -- Пойдёмте, дети, в зал: там уже всё приготовлено.

Мы вернулись опять в зал, где на подносе стояли привезённые бабушкой лакомства. Она сама раздала пряники и яблоки всем девочкам поровну, не забыв отложить всего на особую тарелку для надзирательницы.

-- А что, детки, -- сказала бабочка на прощание приютским девочкам, -- не споёте ли вы нам песенку?..

-- Какую прикажете, Елена Павловна?

-- Всё равно. Какую вы лучше знаете. Только по-русски, хороводом, как я люблю.

И девочки стали все в круг, взявшись за руки, и дружно запели:

"Уж я золото хороню да хороню!

Чисто серебро стерегу да стерегу"

Груня и тут отличилась: она была запевалой, стояла среди круга и управляла хором.

Весело мне было возвращаться из приюта. Я уж не думала ни о солнце, ни о зиме, ни о лете, а только о девочках и о милой Груне, которая придёт ко мне в воскресенье и опять будет читать мне стихи и петь песни.

И, в самом деле, она пришла в воскресенье и стала часто приходить и занимать меня чтением и рассказами. Она пробовала даже научить меня вязать из шерсти шарфики моим куклам; но я была очень непонятливая ученица, и дело всегда кончалось тем, что Груня сама вывязывала всякую начатую для меня работу и прекрасно обшивала моих кукол.

«Ужь я золото хороню, да хороню!

Чисто серебро стерегу, да стерегу».

Груня и тутъ отличилась: она была запѣвалой, стояла среди круга и управляла хоромъ.

Весело мнѣ было возвращаться изъ пріюта. Я ужь не думала ни о солнцѣ, ни о зимѣ, ни о лѣтѣ, а только о дѣвочкахъ и о милой Грунѣ, которая придетъ ко мнѣ въ воскресенье и опять будетъ читать мнѣ стихи и пѣть пѣсни.

И, въ самомъ дѣлѣ, она пришла въ воскресенье и стала часто приходить и занимать меня чтеніемъ и разсказами. Она пробовала даже научить меня вязать изъ шерсти шарфики моимъ кукламъ; но я была очень непонятливая ученица и дѣло всегда кончалось тѣмъ, что Груня сама вывязывала всякую начатую для меня работу и прекрасно обшивала моихъ куколъ.



IV.

Няня Наста.



Чудесная старушка была наша няня. Она была стара: она вынянчила еще мою маму, дядю и тетей; а теперь, когда мы приѣзжали къ бабушкѣ, она по старой памяти всегда вступала въ свои права и нянчилась съ нами. Всѣ въ домѣ не только любили и уважали ее, но многіе и побаивались. Няня безъ всякаго гнѣва или брани умѣла всѣмъ внушить къ себѣ уваженіе и страхъ разсердить ее. Мы, дѣти, боялись ея недовольнаго взгляда, хотя няня не только сама никогда не наказывала, а терпѣть не могла даже видѣть, когда насъ наказывали другіе. Съ большимъ трудомъ переносила она наше очень рѣдкое стояніе въ углу или на колѣнахъ; а ужъ если, бывало, замѣтитъ, что насъ—не дай Богъ! посѣчь собрались,—не прогнѣвайтесь! будь это мама или папа, няня Наста безъ церемоніи насъ отыметъ, не дастъ! Съ мамой-то она совсѣмъ не церемонилась.

— Это что ты выдумала? прикрикивала она на нее въ этихъ рѣдкихъ оказіяхъ;—мать твоя тебя

Чудесная старушка была наша няня. Она была стара: она вынянчила ещё мою маму, дядю и тётей; а теперь, когда мы приезжали к бабушке, она по старой памяти всегда вступала в свои права и нянчилась с нами. Все в доме не только любили и уважали её, но многие и побаивались. Няня без всякого гнева или брани умела всем внушить к себе уважение и страх рассердить её. Мы, дети, боялись её недовольного взгляда, хотя няня не только сама никогда не наказывала, а терпеть не могла даже видеть, когда нас наказывали другие.

С большим трудом переносила она наше очень редкое стояние в углу или на коленях; а уж если, бывало, заметит, что нас -- не дай Бог! посечь собрались, -- не прогневайтесь! Будь это мама или папа, няня Наста без церемонии нас отымет, не даст! С мамой-то она совсем не церемонилась.

-- Это что ты выдумала? -- прикрикивала она на неё в этих редких случаях. -- Мать твою тебя вырастила, я тебя вынянчила, и ни одна из нас тебя пальцем не тронула! А ты своих детей сечь?!. Нет, матушка! Я тебя николи не била и твоих детей тебе не дам бить!.. Не взыщи, сударыня. Детей надо брать лаской да уговором, а не пинками да шлепками... Шлепков-то, поди, каждый им сумеет надавать; а от матери родной не того детям нужно!..

И так разбранит за нас Наста маму, как будто она и Бог вещь какая строгая была. Оно правда, что мама становилась всегда построже, когда мы приезжали к бабушке, ужаснейшей баловнице нашей; именно потому, что боялась, что она нас совсем избалуёт.

Часто, бывало, няня отымет нас, уведёт от сердитой мамы в другую комнату, а сама вернётся, чтоб ещё её хорошенько за нас побранить; а мама весело-превесело рассмеётся над её гневом, так что и старушка не выдержит и, забыв о том, что мы недалеко, хохочут обе, сами над собой, не зная, что и мы тоже смеёмся вместе с ними...

Не только ребёнка, а каждое Божье создание няня жалела и берегла. Не дай Бог было при ней убить паука или мушку, или равнодушно наступить на какого-нибудь жучка.

-- Ну и что тебе с того? -- сердито вопрошала она убийцу. -- Всех, ведь, не перебьёшь! Ты убил одного, -- а на тебя налетят десять. Ведь ты ей жизни отнятой назад вернуть не можешь? Убить -- убьёшь, а воскресить-то не сумеешь? Не твоего это ума дело!.. Ну, так и убивать не смей. Пущай себе живут: коли Бог им жизнь даровал, значит, они на что-нибудь да нужны.

Точно так же сердилась няня, видя, что кто-нибудь животное обижает. Уж какая ведь добрая была, а всегда, бывало, замахнётся, чем попало, и бежит своими мелкими старушечьими шажками отымать несчастную кошку, щенка или птичку.

-- Вот я тебя, негодник! -- няня ни с кем не церемонилась и всем в доме, кроме дедушки и бабушки, говорила ты. -- Ишь ведь обрадовался, что силы больше, чем у котёнка, и ну обижать!.. А ну, как у меня больше силы, чем у тебя?.. Вот я тебя сейчас поймаю, да и отдую, здорово живёшь!.. Что ж умна я буду? А тебе-то сладко придётся?.. Срам какой!.. Не озорничай! Оставь в покое Божью тварь, чтоб Господь на тебя самого не прогневался и не наказал за своё творение.

Вот какова была наша няня Наста, -- а всё-таки мы её боялись! Как она бывало серьёзно глянет из-под седых бровей своих да покачает строго головою, так хуже и наказания не надо!.. И хочется попросить няню, чтобы не сердилась, и страшно подойти к ней, пока она сама не взглянет ласковей и не подзовёт к себе. В её гневе было что-то особенное, какая-то особая сила.

Не было возможности рассеяться, забыть, что она сердится; какая-то тяжкая скука на нас нападала во время её гнева. А как только смягчалась няня, и на её строгом, с мелкими правильными чертами, лице появлялась улыбка, -- всё будто бы разом прояснялось и веселело кругом.

Няня не одних нас, а вообще всех детей любила и жалела. Вечно, бывало, она вязала чулочки, фуфаячки, тёплые шапочки для каких-нибудь бедных детей. Она плохо видела: шила с трудом, но вязала искусно. Поэтому она всегда бралась вывязывать по несколько пар чулок для горничных девушек с тем, чтоб они ей сшили какую-нибудь работу, и работа эта почти всегда бывала бельё, платице или одеяло для ребёнка.

В нашей детской была печка с большой лежанкой. Я всегда удивлялась, зачем это няня вечно складывает на ней узелки с нашими старыми платьями и башмаками? Она никогда не говорила нам, что всё это припасает для встречных бедных детей.

Я гораздо позже об этом узнала.

Няня была хорошая сказочница. Она знала множество сказок и рассказывала их отлично. Мы все были ужасно рады, когда нам удавалось упротить её рассказать нам сказку, что было не совсем легко. Её для этого надо было долго уговаривать, а если она была сердита или чем-нибудь опечалена, то ни за что не соглашалась.

Раз мы очень пристали к ней: "Расскажи, няня, да Расскажи сказку!"

-- Что вы? Господь с вами! -- отвечала няня. -- Нынче суббота, -- всенощная в Божиих храмах идёт, а я им сказки стану сказывать!.. Нет, детки, сегодня никак нельзя. Завтра, -- дело иное. А субботний вечер -- вечер святой. По субботам надо молиться Богу, а не выдумки рассказывать. Вот, я сейчас затеплю у образов лампадку, а Наденька или Лёля Евангелие бы громко прочли. Вот, это бы дело было!

-- Нет, няня; я в театр поеду с Катей и с Леночкой, -- так тётки называли мою маму. -- И Лёлю мы с собой возьмём, -- отвечала тётка Надя.

Лёля запрыгала от радости и побежала к маме узнавать, не пора ли одеваться; а няня крепко заворчала:

-- Ишь нашли время комедии смотреть! Срам какой, во время службы Божией по театрам разъезжать. Ведь уж слава Господу, -- не махонькие: должны бы понимать. А уж Елене Павловне просто стыдно не удержать девчонок.

Няня часто, по старой памяти, тётей и даже мою маму называла "детьми" и "девчонками".

-- Эх ты, Наста! Воркотунья ты старая! -- откликнулась, услышав её слова, из другой комнаты бабушка. -- Полно тебе ворчать! Какой тут грех -- в театр ездить?.. Можно всему время найти: и удовольствию, и молитве.

-- То-то я и говорю, сударыня, что всему своё время: бывает час молитве и час веселью, -- не унималась няня. -- Субботний вечер, известно, вечер святой! Божий вечер... Добрые люди недаром говорят: "Что во все дни трудись, в субботу Богу молись, а в седьмой день, помолясь -- веселись". Православные люди так-то делают.

-- Э! Полно, голубушка! -- прервала её бабушка. -- Оставь молодёжи веселье; а мы с тобой, старухи, будем за них молиться. Будет им время дома сидеть, когда жизнь надоест, а пока весело им -- пусть веселятся во всяк день и час!.. Весельем мы Бога не прогневаем.

И бабушка принялась за своё прерванное занятие, а Наста ещё долго качала седой головой и хмурилась, ворча себе что-то шёпотом. Она тогда только унялась, когда, крестясь и вздыхая, принялась заправлять лампадку у киота.

Я смиренно притаилась в уголке, в тёмной амбразуре глубокого окна, и оттуда пристально следила за няней.

Ярко освещённое лицо её, тёмное, с глубокими морщинами, смотрело серьёзно и даже как будто немного сердито. Её худенькое, как палка, прямое тело, одетое в тёмный ситец и чёрную фланель, казалось мне какой-то тоненькой, деревянной подставкой к низко опущенной голове, с выбившимися из-под тёмного платка, повязанного шлычкой, седыми как лунь волосами. Она засветила фитиль лампы, осторожно подтянула её вверх по шнурку, закрепила конец на гвоздик и мерно сделала два шага назад, не спуская глаз с сиявших высоко в углу образов. Суровое лицо её разгладилось и смягчилось выражением доброты и чего-то другого ещё, -- какого-то непонятного мне, в то время, глубокого чувства, которое словно осветило её всю, в то время как она, шепча молитву, осеняла себя широким русским крестом.

Я сидела не шевелясь, заложив в недоумении два пальца в рот, и не сводила с неё глаз.

"Была няня Наста когда-нибудь молодой?.. -- размышляла я. -- И.... неужели она также была и маленькой?! Какая же она тогда была?"

Я закрыла глаза и старалась представить себе нянино лицо ребячьим или хоть молоденьким, румяным, весёлым... Старалась -- но никак не могла!

"Бегала она? Смеялась? Шалила когда-нибудь?.. -- продолжались мои размышления. -- Или она всегда была как теперь?.. Это не может быть: она тоже прежде была маленькой как я. И неужели... **Неужели** и я буду когда-нибудь такая же чёрная, седая?.. Может ли быть, чтоб и я сделалась такой старухой?.."

-- Верочка! -- услышала я вдруг голос бабушки. -- Поди сюда! Что ты там делаешь?

Я неохотно, медленно слезла с окна на пол и пошла в другую комнату, по дороге всё оглядываясь на молившуюся няню.

-- Иди ко мне, Верочка, -- подозвала меня к своему рабочему столу бабушка, -- посиди со мной. Няня верно молится? Не надо мешать ей.

-- Я не мешаю, бабочка!

-- Ну, всё равно: не ходи к ней. Вот тебе кастеты: раскладывай их, подбирай по картинкам.

И бабушка, которая сама всегда бывала занята и умела найти всем дело - и большим, и маленьким, с особенным искусством, придвинула мне ящик с игрой, называемой *casse-tête* [*головоломка* - *фр.*]. Вы верно знаете её, дети?..

Она состоит из многих разноцветных кусочков дерева или картона, прямых и треугольных, из которых можно составлять разные узоры и рисунки по нарисованным бумажкам или самим выдумывать новые.

будь?.. продолжались мои размышленія. Или она всегда была, какъ теперь?.. Это не можетъ быть: она тоже прежде была маленькой, какъ я. И неужели... Неужели и я буду когда нибудь такая же черная, сѣдая?.. Можетъ ли быть, чтобъ и я сдѣлалась такой старухой?..»

— Вѣрочка! услыхала я вдругъ голосъ бабушки. Поди сюда! Что ты тамъ дѣлаешь?

Я неохотно, медленно слѣзла съ окна на полъ и пошла въ другую комнату, по дорогѣ все оглядываясь на молившуюся няню.

— Иди ко мнѣ, Вѣрочка, подозвала меня къ своему рабочему столу бабушка:—посиди со мной. Няня вѣрно молится? Не надо мѣшать ей.

— Я не мѣшаю, бабочка!

— Ну, все равно: не ходи къ ней. Вотъ тебѣ кастеты: раскладывай ихъ, подбирай по картинкамъ.

И бабушка, которая сама всегда бывала занята и умѣла найти всѣмъ дѣло—и большимъ, и маленькимъ, съ особеннымъ искусствомъ, придвинула мнѣ ящикъ съ игрой, называемой *cassette*. Вы вѣрно знаете ее, дѣти?.. Она состоитъ изъ многихъ разноцвѣтныхъ кусочковъ дерева или картона, прямыхъ и треугольных, изъ которыхъ можно составлять разные узоры и рисунки, по нарисованнымъ бумажкамъ, или самимъ выдумывать новые.

рѣй, не замай меня!.. Расходилася, раззудилася рука крѣпкая молодецкая. Поиграть мечомъ захотѣлось мнѣ!.. Ужъ какъ съѣзжу его вдоль по черцу, не поможетъ ему жабы знахарство: не возстанетъ онъ, не отдышется!»

«Отперлись ворота, въ нихъ проѣхалъ князь...»

«Онъ ударился прямо къ терему, вызывалъ колдуна громкимъ голосомъ:»

— «Эй, колдунъ, выходи! Дай помѣримся съ тобой силою. Богу я помолюсь, а ты въ помощь зови силу черную, чародѣйскую.»

«Услыхалъ Черноморъ, вскипѣлъ злобою! Онъ затрясся весь и дубину взялъ.—«Хорошо, молодецъ; мы помѣримся,—распотѣшимся!» онъ Ивану сказалъ, грянувъ въ встрѣчу ему. Тутъ Иванъ принималъ грудью во рога; онъ кистень свой поднялъ, замахнулся имъ; въ душѣ крестъ сотворилъ—и отвелъ отъ себя ту



На другой день, только что мы встали из-за стола, а обедали мы поздно, зимою при свечах, все мы, не исключая и тѣти Нади, бросились просить няню исполнить еѣ обещание. Она сидела в детской и смотрела на трещавший в печи огонь; чуть ли даже она не задремала, потому что вздрогнула и испугалась, когда мы разом вбежали и набросились на неѣ:

-- Няня! Сказку. Пожалуйста, хорошую сказку!..

-- Ну-ну! Полно кричать, чего вы?.. Я думала невесть что!.. Погодите. Расскажу ужо, когда вечер придет.

-- Да какой же ещѣ вечер? Теперь уж совсем темно, -- протестовали мы.

-- Папа большой спать уж пошёл! -- сказала я, для которой всё время во дню измерялось тем, что делал дедушка.

Впрочем, дедушка не для одной меня, а для всего дома мог служить вернейшими часами, до того был аккуратен. Папа большой кофе пьёт, -- значит шесть часов утра; закусить поднялся наверх, -- двенадцать часов ровно; обедать пришёл -- четыре; проснулся и вышел в зал походить и съесть ложечку варенья -- ровно семь часов вечера, а приказал чай подавать -- половина десятого. После этого часок или два дедушка проводил в гостиной, где всякий вечер были гости; играл в вист или бостон, но аккуратно в одиннадцать уходил к себе вниз, где ещё немного занимался и ложился спать.

К этому порядку так все в доме привыкли, что когда я сказала: "Папа большой уж пошёл спать!", все поняли что уж шестой час.

-- После позовут чай пить, -- говорили Надя с Лёлей, -- ты не успеешь и кончить сказку, что право!..

-- Ну хорошо, хорошо, баловницы! Сказывайте, какую вам сказку говорить-то?

-- Всё равно! Какую хочешь, няня. Говори, какую сама знаешь.

-- Про Ивана Царевича, -- предложила я.

-- Ну! Эту мы на память знаем, -- сказала Надя.

-- Ты бы уж лучше про мальчика Ивашку и Бабу-Ягу, костяную ногу, попросила, -- засмеялась надо мною Лёля. -- А ты, няня, расскажи новую!

-- Ох! Уж ты -- новая! Всё б тебе новости! -- укоризненно заметила няня.

-- Ну, садитесь по местам и слушайте!

Мы поставили себе стулья полукругом у лежанки и ждали, сидя смирно и молча: мы знали, что няня не любит, когда прерывают её мысли в то время, как она собирается "сказку сказывать". В длинной, невысокой детской не было света, кроме яркого огня в печи. Няня его ещё хорошенько взбила кочергой, потом села, как раз напротив яркого света, и, положив руки вдоль колен, устремила глаза на огонь и задумалась.

Мы переглянулись, словно хотели сообщить друг другу: "Вот сейчас, сейчас начнёт!.."

Вдруг няня встала и пошла к дверям на лестницу.

-- Няня! Наста! -- кричали мы все в недоумении и горе. -- Куда ты? Что же это такое!?

Няня не отвечала, а только успокоительно кивнула головой и вышла.

Лёля тихонько вскочила и на цыпочках побежала за ней.

-- Ты куда?! -- прикрикнула на неё няня из нижнего коридора. -- Пошла на своё место!

Сестра, смеясь, вприпрыжку вернулась к нам и сказала:

-- Я знаю, зачем она пошла: наверное, принесёт какого-нибудь лакомства.

Я запрыгала от радости, потому что была ужасная лакомка; но старшие прикрикнули, чтоб я сидела смирно. Няня скоро вернулась, и мы сразу увидели, что она несёт что-то в своём чёрном коленкоровом переднике.

-- Что у тебя там, няня? -- спросила я, вскочив и заглядывая.

-- Подожди, сударыня! Всё будешь знать -- скоро состареешься. А вы все встаньте-ко да отодвиньтесь, на часок, от печки.

Мы живо отодвинулись и ждали: что будет?

Няня нагребла на самый край печи мелких, горячих углей и посыпала на них чего-то из передника...

"Тр-тр-тр! Пуф-ф!" -- защёлкало и зашипело что-то в печке, и вдруг из неё к нашим ногам поскакали какие-то жёлто-белые, поджаренные, пухлые зёрна... Я бросилась было их собирать, но няня закричала: "Не тронь! Обожжёшься!", и я опять села удивлённая.

-- Это кукуруза, -- шепнула за спиной моей Даша.

-- Кукуруза?.. Это что такое?

-- Сухие кукурузные зёрна. Они на огне раздуваются и лопаются, оттого так трещат и сами из печки выскакивают, -- объяснила она мне; а Дуняша прибавила шёпотом:

-- Они потом, когда остынут, чудо какие вкусные.

Обе они с восторгом следили за всей этой сценой, но говорили шёпотом, потому что няня не любила, когда девочки много при ней болтали.

Зёрна то и дело с треском вылетали из печки и падали то на пол, то к нам на колени, заставляя нас с криком и смехом прыгать в сторону.

-- Точно из пушек стреляет! -- не совладав с собою, восторженно вскричала Даша.

-- Смотри, чтоб те язык-то не отстрелило! -- тотчас же сурово остановила её няня.

-- Ну, детки, вот и моё угощение готово: собирайте-ка да грызите, пока я стану рассказывать. Всё же веселей, чем так-то сидеть и слушать, ничего не делая.

Мы живо подобрали калёную кукурузу, которая нам показалась очень вкусной; расселись снова полукругом и, с большим удовольствием грызя её, приготовились слушать.

Няня посидела немного молча, потом выпрямилась и сказала:

-- Расскажу я вам нынче сказку про попа и ужа.

Мне очень хотелось спросить: "Что такое уж?", но я не посмела прервать няни и после узнала, что это такая змея.

Няня начала мерным, певучим голосом, раскачиваясь на стуле и глядя не на нас, а куда-то вдаль, поверх наших голов, с совсем особенной расстановкой, будто бы стихи говорила:

-- Называется сказка моя:

Иван-Богатырь и поповская дочь.

"В некотором царстве, в некотором государстве жил да был удалой молодец, князь Иван-Богатырь. У того ль удалца-молодца была сила крепкая, сила страшная! Все боялись его: на сто вёрст кругом все разбойники разбежались...

Раз пришёл к нему деревенский поп; просит-молит его -- дочку выручить! А ту дочку его лиходеи увёз: старый вор Черномор, что волшебствовал, околдовывал и разбойничал много лет в их местах.

Не задумался добрый молодец.

-- Уж как я же его угощу ладком! -- он возговорил. -- Позабудет вор красных девок красть!

Оседлал Иван коня быстрого; в руки взял кистенёк весом в десять пуд и поехал себе по дороге в лес.

А за лесом тем, в страшном притоне, жил колдун Черномор. Подъезжая к его терему, увидал Иван частокол кругом. Частокол тот был весь унизан вплоть черепами-костями лошадиными да бычачьими.

Подъезжал Иван к тесовым воротам, колотил и кричал во всю моченьку... Показалась за стеной голова. Не людская то голова была: лошадиная, -- побелевшая от ветров, от дождей; только череп один мёртвой лошади...

-- Что понадобилось добру-молодцу?.. Или смерти своей ты пришёл искать? -- она молвила громким голосом, громким голосом человеческим.

И захлопала белой челюстью, словно съесть его собираючись.

-- Нет, не смерти своей я пришёл искать, башка мёртвая лошадиная! Отпирай запор да впускай меня... Красну девицу, дочь поповскую я пришёл сыскать, у вора отнять, -- проучить его не разбойничать!

-- Ох! Какой богатырь! -- засмеялась башка мёртвая. -- Видно, ты ещё не отведал черноморского хлеба с солью?.. Убирайся-ка пока цел от нас! А не то сейчас Черномор тебя на куски разнесёт: тело псам отдаст на съедение, а головушку неразумную высоко на кол вздёрнет он на забор... Оглянись ты кругом, -- посмотри: частокол из чего у нас? Мыслишь то черепа лошадиные?.. Нет, соколик: они человеческие... То головки всё молодецкие. Околдованы Черномором злым им убитые добры молодцы; его враги, как и ты теперь вызывавшие его в бой честной... Уходи ж ты скорей, пока спит злодей; как проснётся он, не уйдёшь тогда!..

Рассердился князь и мечом потряс.

-- Замолчишь ли ты, башка глупая?.. Жаль убить нельзя пустой череп твой... Ну, скорей отворяй! А не то как раз расшибу ворота и тебя заодно!

Отвечала ему башка бедная, тяжело вздохнув:

-- Быть по-твоему, богатырь удалой! Отопру тебе, только слушай меня: я не мёртвый конь, -- человек я живой!.. Зачарован я колдуном лихим, чтоб казаться таким всем людям честным... Отопру тебе я лишь с условием: если ты победишь врага лютого, -- не забудь и меня, под подушкой его лежат ключики, -- каждый весом в пуд: не забудь ты их, заberi с собой! Как одним ты ключом отопрёшь подвал; а в подвале том моя душенька, человеческая. Она вылетит, возвратится ко мне, стану я опять добрым молодцем!.. Как-второй-то ключ самого тебя из беды спасёт: за ним заперта жизнь злодейская, -- запасная жизнь чародейская... Если ты его, князь, и убьёшь теперь да волшебный ключ позабудешь взять, жаба, мать его, из земли сырой тотчас выползет; ключ возьмёт, -- отопрёт во норе своей ларчик спрятанный, где хранится у неё пузырёк с водой, с не простой водой, -- а с водой живой! Той водой она как дотронется до убитого, встрепенётся он, и душа его возвратится... Оживёт тогда злой колдун Черномор и погонится за тобою вслед. Жди тогда беды, горя лютого!

-- Ну, болтай себе! -- отвечал Иван. -- Разболтался как пустой череп твой!.. Отпирай скорей, не замай меня!.. Расходилася, раззудилася рука крепкая молодецкая. Поиграть мечом захотелось мне!.. Уж как съезжу его вдоль по черепу, не поможет ему жабы знахарство: не восстанет он, не отдышится!

Отперлись ворота, в них проехал князь...

Он ударился прямо к терему, вызывал колдуна громким голосом:

-- Эй, колдун, выходи! Дай померимся с тобой силою. Богу я помолюсь, а ты в помощь зови силу чёрную, чародейскую.

Услыхал Черномор, вскипел злобою! Он затрясся весь и дубину взял.

-- Хорошо, молодец; мы померимся, -- распотешимся! -- он Ивану сказал, грянув ввстречу ему.

Тут Иван принимал грудью врага; он кистень свой поднял, замахнулся им; в душе крест сотворил -- и отвёл от себя ту дубину врага!.. Налетал на него много раз Черномор; но Иван, всё крестясь, с Божьей помощью поборол наконец злого недруга. Повалил он его и ногой ему наступил на грудь... Тогда вынул меч свой и им голову пополам раскрыл колдуну!.."

Няня вдруг замолчала. Мы сидели, вытянув шеи, и не сводили с неё широко открытых глаз. Я помню, что я даже рот открыла от ожидания и страха за участь бедного Ивана-Богатыря. Всю сказку она говорила мерно, однообразным голосом и только последние слова проговорила сильнее, так что, когда она замолчала, у меня дух захватило в горле...

-- Няня! Что же ты? -- тоскливо проговорила я.

Няня не шевельнулась. Она пристально смотрела на огонь и, казалось, о нас забыла. Пламя теперь уже не вспыхивало так ярко и светло как в начале её рассказа, а обливало всех нас, в особенности морщинистое лицо няни красноватыми, неровными отблесками, которые таинственно перебегали по тёмной комнате; то вспыхивая, то потухая в самых отдалённых углах. Я припала к няне и опять спросила:

-- Ну, что же дальше, няня? Говори же!

-- Няня! Насточка! -- пристала и Лёля с Надей. -- Что же ты остановилась?..

-- А то, что довольно на сегодня, вот что! Будет с вас! -- решительно сказала няня.

-- Да как же довольно? Где же поп? Где же уж?.. Как же можно сказки не кончить?

-- А так и не кончу. Нехорошо детям сказок под ночь долго заслушиваться. Ишь, вон Верочка-то и глазёнки на меня как выпучила, словно испугалась. Полно, родная моя! Ведь это сказка! Пустяк!..

-- Ну, пустяк, так и доскажи до конца! -- просила её Лёля.

-- Сказано не доскажу -- и будет с тебя, вертунья! -- рассердилась няня. - В другой раз окончу. Оправьтесь-ка да ступайте вниз: никак барин уж пришёл в зал.

Конец няниной сказки

Только на следующий вечер узнали мы, что произошло впоследствии с Иваном и поповской дочкою.

-- Захрапел Черномор, на Ивана взглянул -- и издох! -- так ровно через сутки продолжала упрямая наша старушка свой рассказ.

Тогда князь Иван-Богатырь отправился искать по терему красную девицу, совершенно забыв о наказе лошадиной головы, и насилу её разыскал в высокой светёлке: она спряталась там, ожидая, что придёт злой колдун, и совершенно теряется при виде неожиданного красавца. Он же, вообразив, что она от него "схоронилась", гневается, что девица так отвечает в благодарность за его подвиг и услугу и, рассердившись, даже не глядит на неё; а она не осмеливается, видя гнев его, объяснить ему, в чём было дело, и молча, послушно садится с ним на коня его. Так они доезжают до погоста, где Иван сдаёт поповну отцу её и матери и, не слушая их благодарностей, возвращается "шагом тихим в свою отчину"... Между тем бедный молодец, "обороченный приворотом злым в коня мёртвого", -- т. е. та голова лошадиная, что предупреждала богатыря о ключах, -- оказывается правой: едва выехал он, с Аннушкой за седлом, из ворот Черномора, как "жаба, мать его, из норы выползала своей, брала ключики те волшебные" и спешила скорей за водой живой. Вода эта мигом затянула раны и возвратила сына её, чародея, к жизни, и он, недолго думая, погнался за Иваном, настиг его на мосту, у леска, возле его усадьбы, и, обратившись "в силу чёрную, силу страшную, заградил ему путь", и... тут-то и произошло самое интересное событие во всей няниной сказке:

"Что-то жуткое с князем случилось! Голова его закружилась, потемнело в глазах... Богатырский меч из руки упал; ничего не видал, ничего не слышал бедный витязь и вдруг как-то смалился и... с коня соскользнул, прямо в рытвину... Бедный молодец, князь Иван-Богатырь, впал в беспамятство. Он и сам не знал, сколько тут пролежал, но опомнившись, захотел своей душой, хоть в могиле сырой, своё горе сокрыть: он заснул молодцом, а проснулся -- *ужом!*.. Завернув длинный хвост, уж забился под мост и задумался"...

И было чего думать! Злой колдун вообразил, что он Аннушку увёз, потому что сам её любит, и, чтобы навеки разрушить его счастье, объявил, что он навсегда останется змеей; что до той поры не бывать ему человеком опять, пока его, "гада скверного, змея лютого", не полюбит красна девица. Несколько часов бедный околдованный богатырь продумал о своём несчастий и о том, что не бывать бы этой беде, если б он был не так самонадеян и забывчив, послушался бы лошадиного черепа и захватил с собою золотые ключи. Вдруг он слышит, что на мост над ним кто-то выехал: это был поп, отец Аннушки, со своей женой...

"Тут наш уж вылезал, попу путь заградил, и хвостом он махал и сердито кричал:

-- Поп, постой-погоди! Ты с тележки сходи, чтобы съесть мне тебя вольной-волею! А не слезешь, -- и съем не тебя одного, а с тобою и мать-попадью!"

Поп начинает упрашивать его не есть их, предлагая дать за себя какой угодно выкуп. Уж требует одну из дочерей попа в жёны себе, и, возвратясь домой, поп начинает убеждать старших своих дочерей обвенчаться со змеей, жалея меньшую, Аннушку, вырученную недавно из плена колдуна. Но старшие только смеются и грубят родителям, говоря, что беда невелика, если уж их проглотит, потому что им и так уже "помирать пора"... Меньшая пристыжает их и объявляет, что готова идти хоть на смерть за отца с матерью. Попадья и слышать об этом не хочет, но отец, поразмыслив, говорит так:

"Делать нечего! Видно, ей судьба горемычная. А ведь, может, уж будет добрый муж! Божья воля на всё!.. Может сам Господь наградит её за родителей!.."

На другой день Аннушка села в тележку с отцом и матерью и при громких насмешках злых сестёр отправилась в лес выкупом за отца и мать. Она ожидала лютой смерти, но ошиблась: уж оказался предобрый и прекрасным мужем. Он выстроил ей домик в лесу; рано вставал, чтобы всю работу успеть окончить, рубил дрова, воду таскал, набирал для жены ягод, стряпал ей кушанье. Аннушка надивиться не могла, "что за уж такой её муж родной? Говорит и поёт словно бы человек, и так светятся у него глаза то печалию, а то ласкою, что нельзя не любить его бедного!.. Хоть он телом и гад, но душою своей добрей многих людей!" Раз она начала его расспрашивать, и уж признался ей, что он не змея, а околдованный Черномором богатырь. Аннушка изумилась и спросила: не за то ли он потерпел, что спас какую-нибудь девицу, точно так, как её самое спас Иван-Богатырь? Говоря это, она зарумянилась, а муж её, змея, притворился, что ревнует её к князю, спасшему её от колдуна; что уж верно "богатырь ей мил, -- муж-змея постыл?", и объявил, что, желая ей счастья, пойдёт сейчас к реке и утопится, для того чтоб она могла обвенчаться с Иваном-Богатырём. Говоря это, он пополз к двери избушки...

"За ним Аннушка поднималась и слезами вся обливалась. "Ты куда же, мой уж? Разве ты мне не муж?.. Нужды нет, что змея, а люблю я тебя: добр ты был до меня, -- не пушу я тебя на смерть лютую! И зачем ты меня оставляешь!?. На кого ж ты меня покидаешь?.." Говоря так, она со земли подняла ужа бедного; и лаская его, обнимаючи, ко груди ко своей прижимаючи, вдруг горючей слезой прямо на сердце ему капнула... Диво дивное тут содеялось! -- Жаром вспыхнула кровь горячая, молодецкая! Обновился князь, с глаз туман пропал, золота чешуя в парчовой кафтан обратилась, и на месте змеи -- гада лютого, очутился вдруг удалец, князь Иван-Богатырь!.. Так и ахнула молодая жена, увидав, кого обнимала она. Тут за руку брал её князь наш удал, и к родителям приводил и просил ласки-милости попа-батюшки, тётчи-матушки, молодых сестриц... Но сестрицы тут рассердились: "Так-то ты нас надула, сестра? Всех моложе ты нас, так не стать бы меньшей под венец идти первой-напервой!.."

Ишь, какого ужа подцепила в мужья! -- За такого б и мы не прочь выйти!" Тут вмешалась мать-попадья: "Кто ни мать, ни отца не жалеет, тому счастья не будет от Бога!" Так сказала она, и надувшись ушли прочь сестрицы в светлицы свои. А наш князь молодой со княгинюшкой стали жить-поживать да добра наживать. Я сама там была и мёд с пивом пила, только в рот то мне мало попало!.."

Этой присказкой няня обыкновенно кончала свои сказки.

Исповедь

Зима прошла так скоро, что мы её и не видали. Наступил Великий пост. Я заметила его только потому, что нам, детям, с папой большим подавали обыкновенный обед, а всем остальным постные кушанья. Когда я узнала, что бабушка и тёти едят постное и часто ездят в церковь потому, что Великий пост -- именно то время, в которое злые люди, не поверив, что Иисус Христос -- наш Бог, взяли Его, мучили и убили, я тоже непременно захотела поститься. Но мне не позволили. Пришёл наш доктор, длинный-длинный, не то немец, не то француз, такой противный, с утиным носом и длинными баками (няня Наста его терпеть не могла и говорила, что у него "баки как у собаки", -- с чем мы были все согласны!) и запретил давать мне постные кушанья. Я помню, что меня очень занимала перемена погоды. Я сидела на окне и смотрела, как твёрдый белый снег превращался в какой-то жидкий кофейный кисель и бесшумно проваливался под полозьями и колёсами. Морозного скрипа и визга, ледяных прозрачных как стеклянные палки сосулек уже не было и в помине! Всё разрыхлело, таяло, и вода текла по улицам; а Волга смотрела чёрной, исполосованной и взбудораженной, будто бы кто-нибудь её нарочно всю перекопал и запачкал. Мама и бабочка жаловались, что езды совсем нет; на полозьях ездить -- лошадям тяжело, а в колёсных экипажах ещё страшно. Во всём доме была суета: всё мыли, чистили, прибирали.

Бабушка чаще обыкновенного советовалась с маленькой, круглой как шарик ключницей Варварой и дольше вечером держала старшего повара Максима, когда он приходил к приказу.

По мере того, как толстая Варвара или баба Капка, как её все в доме называли, озабоченнее погромыхивала связками ключей и чаще, и громче ворчала, ссорясь то с дворецким, то с горничными, наша няня Наста становилась всё тише и всё менее принимала участия в домашних хлопотах. Вообще она за весь пост только и делала, что чистила ризы на образах, перетирала киоты и зажигала в них свечи и лампы. Она говела на первой неделе и второй раз на страстной. По вечерам мы знали, когда няня в церкви; по утрам же никто не мог замечать её отсутствия, потому что она ходила к заутрени и к ранней обедне. Я рассказываю о ней потому, что она производила сильное впечатление на меня в то время, и я с величайшим интересом наблюдала за ней. Я не давала бабочке покоя расспросами о том, как может няня постоянно молчать и так часто молиться у всех икон? И как это она может ничего не есть? И отчего это она не только сказок больше говорить не хочет, но постоянно уходит от нас, чтоб и не смотреть на наши игры и не слышать песен наших и смеха?.. В самом деле, няня притихла к концу поста до такой степени, что голоса её не было никогда слышно. Во всю страстную неделю она съедала только по одной просвиरे в день; а в пятницу и субботу совсем ничего в рот не брала. Я помню, что смотрела на неё в это время не только с уважением, но с чувством недоумения, весьма похожим на страх.

В среду вечером пришёл священник с дьячком и отслужил в нашем зале всенощную.

Весь дом, все люди, даже повара и кучера сошлись в зал или к отворённым в переднюю и коридор дверям. Я очень усердно крестилась и становилась на колени, стараясь во всём подражать большим, но должна признаться, что не могла молиться: мысли самые разнообразные занимали меня. Я осматривалась с удивлением и по обыкновению заготовляла сотни вопросов, с которыми на другой день должна была обратиться к бабушке или Антонии.

После всенощной все тихо разошлись, в зале потушили почти все свечи, но священник остался у аналоя в углу, под ярко освещённым образом Спасителя.

-- Что это будет? -- шёпотом спрашивала я, крепко стискивая руку мамы, когда она уводила меня в соседнюю гостиную.

-- Мы будем исповедоваться, -- говорить наши грехи священнику, -- объяснила она.

Я хотела допросить её яснее, очень мало поняв из её ответа; но что-то в лице мамы заставило меня замолчать и только смотреть на всё ещё внимательнее, отложив вопросы до другого времени.

Все мы вышли в гостиную и плотно заперли в неё двери; в зале остался один дедушка.

Я смотрела на дверь и, сама, не зная, чего боюсь, со страхом ожидала, что будет?..

Дверь скоро приотворилась, и папа большой сказал, не сходя с порога, бабочке:

-- Иди, *chère amie* [*милый друг - фр.*], я пойду теперь к себе вниз.

И дедушка пошёл к коридору, а я так и впилась в отворённую дверь зала. Тёмная фигура священника мелькнула предо мною, на светлом фоне освещённого угла пред аналоем, спиною к нам, и двери снова затворились: бабушка, крестясь, вошла в зал... Я вздрогнула, когда Лёля вдруг шепнула над самым моим ухом:

-- И я тоже буду исповедоваться. Я большая. А ты не будешь! -- Ты ещё глупая, маленькая!

-- И тебе не страшно? -- с ужасом спросила я.

-- Страшно! Вот ещё глупости! Чего тут бояться?..

-- Как чего?.. Нет! Я бы боялась идти туда.

И я продолжала смотреть со страхом на эту тяжёлую дверь, за которой происходило что-то неведомое мне, но очень важное и даже, как мне казалось, не совсем безопасное... Я радовалась, что мне не нужно идти туда. Я совершенно не понимала, что значит -- **исповедоваться**, но боялась за каждого, шедшего в тёмный зал, и вздыхала свободно, когда все по очереди оттуда возвращались целы. Когда пришёл черёд Лёли идти, я взглянула на неё и заметила, что, несмотря на её хвастовство, она очень бледна... Мне сделалось так жаль её и так за неё страшно, что я невольно припала к дверной щёлке...

-- Верочка! Отойди. Как можно смотреть? -- сказала мне тётя Катя.

Я отошла, но очень обрадовалась, когда сестра к нам возвратилась.

Я смотрела на неё теперь с особенным уважением и каким-то ожиданием: словно предполагала, что она совершенно должна измениться. Я очень удивилась, убедившись, что Лёля точно такая же, как и была. Нас усадили после исповеди чистить изюм и миндаль для бабок и мазурок, и сестра несколько раз принималась шалить и хохотать, -- чем меня очень неприятно изумляла.

-- Тише, дети, -- останавливала нас мама, -- разве можно так смеяться накануне причастия?.. А ты-то, Лёля, большая девочка, только что от исповеди и громче всех хохочешь! Не стыдно ли?

Бабушка ничего не говорила, только ласково смотрела на нас, и, хотя губы её не смеялись, зато добрые тёмные глаза её и всё её милое, приветливое лицо улыбались нам против воли.

В монастыре

На другой день нас рано утром повезли причащать в женский монастырь. Во всё время обедни я рассматривала с большим любопытством монахинь и очень сожалела маленькую, худую женщину, игуменью монастыря, которой, по моему мнению, должно было быть ужасно жарко во всех этих длинных суконных мантиях, в клобуке и суконной шапочке, на лбу и вокруг щёк опушённой мехом.

Тут же была очень красивая, высокая и полная монахиня, которая иногда бывала в гостях у бабушки. Я её очень любила и теперь сожалела, зачем не она тут самая главная? Мне казалось, что гораздо было бы лучше, если б она опиралась на тот высокий посох с крестом, и ей бы все другие монахини кланялись в ноги, а не этой маленькой женщине, с жёлтым сморщенным личиком...

Я причастилась без особого чувства, потому что была ещё слишком мала, чтоб понимать торжественность этой минуты. Меня гораздо больше заняло, что я сама запила причастие вином и взяла просвиру со столика... После обедни игуменья пригласила нас пить чай. Мы с бабочкой пошли к ней, а мама и тёти поехали в собор, смотреть, как архиерей будет омыwać ноги священникам.

Напившись чаю с вареньем в маленькой, жарко натопленной келье игуменья бабочка велела нам поцеловать её руку и стала с ней прощаться. На прощание игуменья надела мне и Лёле на шею перламутровые чётки с большими резными крестиками и приказала проводить нас маленькой девочке в ряске и чёрном колпачке на русой головке.

-- Бабочка! -- сказала Лёля. -- Мы теперь пойдём к Алеевой? Да?..

Алеева была знакомая нам красивая монахиня; я очень обрадовалась, услышав, что мы к ней идём. Девочка в чёрном колпачке меня чрезвычайно занимала, и я тихонько спросила бабушку:

-- Неужели эта маленькая девочка тоже монахиня?

-- Нет, душечка, -- улыбаясь отвечала бабушка, -- это просто монастырская воспитанница. Их здесь много учатся; но только других к празднику отпустили домой, а эта сиротка -- ей некуда идти, потому она и осталась.

-- А её насильно не сделают монахиней? -- спросила Лёля.

-- Какие ты глупости говоришь! -- остановила её бабочка. -- Насильно никого не берут в монастырь.

-- А зачем же она так одета?

-- Все воспитанницы так одеты; когда она выйдет из ученья, тогда сымет и ряску, и чёрный колпачок и наденет цветное платье. Монастырского только всего в ней и останется, что она будет умница, будет уметь читать и писать, и отлично знать всякие работы. Правда, девочка?..

И бабушка легонько ущипнула её за румяную щёчку.

Мы поравнялись с дверью, на пороге которой стояла Алеева. Она весело встретила нас, заговорив с бабушкой по-французски да так скоро и оживлённо, что я удивилась; а Лёля шепнула мне, что это совсем не по-монашески.

Расцеловав нас, Алеева вынесла нам из-за перегородки, разделявшей её просторную келью на гостиную и спальню, целую корзиночку с прелестными яйцами, отделанными ярким бархатом, атласом, фольгой и блёстками, и сказала, чтобы мы их рассмотрели и выбрали себе каждая по два; сама же она ушла в глубину комнаты и села с бабушкой на диван. Она сняла с головы свою круглую шапочку и чёрное покрывало и осталась простоволосой. Мы увидали, что густые волосы её тёмно-каштановые, с проседью, подстрижены, и лицо её, разгоревшееся от оживлённой беседы, показалось нам ещё красивее.

Просторная келья Алеевой была гораздо более похожа на комнату богатого дома, чем на жилище монахини; она казалась ещё полнее и красивее после голых стен помещения игуменьи. Мебель была мягкая; по окнам стояли цветы: гиацинты, левкой, наполняя комнату чудесным запахом. На стенах висели картины, а одна большая картина, изображавшая дом и большое дерево, над прудом, стояла недоконченная на мольберте у окна. Мы поняли, что это рисовала она сама, и очень этому удивились.

Тут же, на письменном столе, лежало несколько книг в красивых переплётах. На одной, синей бархатной, был вытеснен золотой крест; мы не трогали её, догадавшись, что это молитвенник. Но нас заинтересовала другая, алая бархатная книга, с надписью: "Album". Лёля, не выдержав, приоткрыла его немножко, и мы на первой же странице увидали рисунок того же деревенского дома, что и на большой картине; а на следующей был нарисован господин с длинной бородой и очень умным лицом.

-- Он на неё похож! -- шепнула я Лёле, глазами указывая на монахиню.

Лёля кивнула головой и собиралась перевернуть третий листок, как вдруг Алеева оглянулась на нас и сказала:

-- Что вы там рассматриваете, дети? Оставьте! Это не для вас.

Мы отошли от стола пристыженные, а монахиня встала, взяла альбом и понесла показывать его бабочке.

Мне показалось, что лицо её вдруг сделалось очень печальным... В самом деле я узнала потом, что портрет этот был снят с её брата, умершего где-то далеко, -- в Сибири. Он был очень несчастен, а сестра так его любила, что, когда он умер, она бросила свет и своё богатое имение и пошла жить в монастырь.

Приготовление к празднику

Два последних дня пред Пасхой прошли так скоро, что мы их и не видали. Мы красили яйца, завёртывали их в разноцветные шёлковые тряпочки и варили, отчего они делались как будто мраморные. Бабочка нарисовала мне несколько прекрасных яиц, с букетиками, ангельчиками и гирляндами. Приходили ещё какие-то хохлушки с писанками, т. е. с яйцами, расписанными по красному фону жёлтыми, зелёными и белыми узорами; кроме того, дедушка накупил нам золотых и фарфоровых, прекрасных яичек, а тётя и мама навезли сахарных. У нас их было по целому ящику. Я распределяла заранее, которыми из них я буду христосоваться со знакомыми, с приютскими девочками и с нашими горничными девушками. Для няни Насты было у меня припасено прекрасное яйцо с распятием на одной стороне, а на другой с образом Воскресения Господня. Я знала, что няня будет ему рада и сейчас же подвесит его к своим образам.

Рано утром в Страстную субботу нас повели в собор, который был как раз против нашего дома, прикладываться к Плащанице. Я в первый раз видала её и помню, что вернувшись долго не могла успокоиться и всё расспрашивала бабочку: как смели злые люди убить Христа? Зачем им позволили это?.. Я очень радовалась, что Господь наш воскрес, ожил опять и вознёсся живым на небо. Чтобы я оставила в покое бабушку, очень занятую хозяйственными распоряжениями, мама увела меня к себе в комнату, где сидела Антония, спешно кончая какую-то работу, и попросила её рассказать мне о распятии и воскресении Спасителя, что она охотно исполнила. Антония часто за работой, которую никогда не оставляла, рассказывала мне и Лёле разные интересные вещи. Я прослушала её до самых сумерек, пока не позвали нас обедать, и за обедом упорно отказывалась от скоромных кушаний. Я и без того чуть не плакала, оттого что меня не хотели брать в церковь к заутрени; а тут ещё все постничают, няня совсем ничего не пила и не ела, а я стану котлетки говяжьи есть?.. Да ни за что на свете! Мама с бабочкой, видя моё горе, сжалились надо мной и позволили мне есть постное, чему я очень обрадовалась.

После обеда я тихо сидела в детской, думая обо всём, что слышала сегодня, как вдруг вбежала Лёля.

-- Верочка! -- кричала она. -- Иди скорее в диванную. Посмотри, чего туда нанесли из кухни: какие бабки огромные! Пасхи, мазурки какие чудесные! И разные кушанья! Иди!..

Я побежала вслед за нею. В зале накрывали уж большой стол и расставляли на нём посуду и серебро. Бабочка же всё сначала оглядывала в диванной, куда баба Капка, Максим в белом фартуке и другой повар, Аксентий, сносили из кухни, погреба и кладовой всевозможные кушанья и печенья. Весь круглый стол был занят высокими бабами и куличами, в огромной корзине лежали разные колбасы, копчёные птицы и языки; другая была полна мазурками, покрытыми белой глазурью. Варвара перетирала и клала в вазу красные яйца. Бабушка указывала, что на какое блюдо класть и нести в зал, а что оставить про запас для людей.

Аксентий с поварёнком стояли у дверей, держа какой-то поднос или жаровню, на которой лежали жареные индюшки, гуси и куропатки. Тётя Надя и Лёля вертелись у другого стола, где стояли сладкие пироги и торты, разукрашенные конфетами и цветами.

Я в жизнь свою никогда не видала столько съедобного и так удивилась, что, остановившись среди комнаты и по своей очень дурной привычке заложив два пальца в рот, воскликнула:

-- Кто ж это всё съест?!

-- О!.. Посмотришь, сколько у нас будет завтра гостей! -- отвечала тётя Надя. -- Да и нас самих разве мало? Одних людей чуть не сорок душ.

И это было правда. В те времена у всех было очень много прислуги; бабушка была из очень старинного, богатого дома; привыкла жить окружённая множеством слуг и любила, чтоб не только в нашей столовой, но и в людских всего было вдоволь, особенно в такие большие праздники. Она сама была прекрасная хозяйка и славилась своим хлебосольством.

Немного позже, когда стол в зале был накрыт, яйца, сырны пасхи и бабы для освящения в церкви отобраны, и все бабочкины хлопоты окончены, она сидела в диванной, отдыхая и подозвала меня.

-- Верочка, -- сказала она, -- а знаешь ты, что ещё у нас завтра, кроме Пасхи?

Я устремила на неё большие глаза и покачала головой.

-- Завтра ещё твоё рождение, дурочка: тебе пять лет. Смотри же, поумней до утра; ведь ты завтра будешь целым годом старше и за ночь вырастешь на аршин.

-- Как на аршин, бабочка?

-- Непременно на целый аршин, -- улыбаясь пошутила бабушка.

Но я была такая глупенькая, что серьёзно об этом задумалась и даже начала беспокоиться о том, какое же я надену платье, если настолько вырасту из своих?

-- Ну, что ж тебе завтра подарить? -- прервала бабушка мои заботы.

-- Не знаю! -- отвечала я.

-- Подарите ей, бабочка, ту большую куклу, что, помните, мы видали в лавках? Или медведя, который лезет на столб!.. А то краски! Мы будем красить картинки. Так весело!.. Хочешь, Вера, краски? -- вмешалась Лёля.

-- Ну, милочка! Ты столько наговорила, что всего и не вспомнишь. А знаешь пословицу: *qui veut tout, -- n'a rien?*.. [*Кто не хочет всё, тот ничего не получит - фр.*] Смотри, чтобы с тобой не случилось как со стариком и колбасой в сказке.

-- А что с ними случилось?

-- Сегодня не время рассказывать. Напомни, -- завтра расскажу, -- отвечала бабушка. -- А теперь пойдём чай пить: вот папа большой уж кончил ходить по комнатам и верно хочет чаю.

В этот вечер нам с Лёлей крепко не хотелось ложиться спать, потому что никто в доме не ложился в ожидании заутрени. Но нас всё-таки уложили, и я уснула так крепко, что и не слыхала ни звона колокольного, ни общего возвращения из церкви.

Пасха и моё рождение

Зато все ещё спали, утомлённые бессонной ночью, когда я проснулась, пробуждённая частым, весёлым звоном колоколов во всех городских церквах. В одну секунду я вспомнила, что бабочка говорила мне о сегодняшнем дне, и вскочила на своей постельке. Бабушка всегда рано вставала и не терпела ставень, а потому солнце ярко светило в окно, за которым чирикали воробьи, и ворковали голуби, важно похаживая по откосу крыши.

Я протёрла глаза, огляделась и.... что же я увидела?!

Около моей кровати стоял маленький стол, застланный скатертью. На нём блестел медный самоварчик и маленькая чайная посуда, разрисованная голубыми и розовыми цветочками. В сахарнице был сахар, в молочнике -- сливки, а возле на подносе стояла настоящая маленькая бабка, вся покрытая сахаром, миндалём и изюмом. Но этого мало! У столика были поставлены два соломенных стульчика: на одном сидела, в ожидании чая, большая кукла, а на другом лежал красный шерстяной сарафан для меня самой. Я часто говорила бабочке, что ничего на свете не желала бы так иметь как русский красный сарафан. И вот теперь он был предо мною, весь расшитый галунами и золотыми пуговицами, и к нему ещё была бархатная повязка на голову, тоже вышитая золотом и бусами. Вот-то была прелесть!..

Я сначала окаменела от восторга. Потом, недолго думая, вскочила на постель к спавшей бабочке и ну душить её объятиями и поцелуями!.. Я так обрадовалась, что и не сообразила, что могу испугать её. В первую минуту она действительно испугалась, но, увидя меня, тотчас поняла, в чём дело. Она засмеялась, расцеловала меня и позвала няню одеть меня в новый сарафан.

Только что я оделась, прибежала Лёля, разодетая в новое шёлковое платье; она держала подаренную ей мамой книгу с картинками, а бабочка ей подарила прекрасный ящик с красками. Я не отходила от своего столика и не выпускала из рук куклы; я так была ими занята, что даже совсем забыла, что сегодня Пасха и надо христосоваться. Мне напомнила это первая няня Наста. Она вошла в комнату серьёзная, одетая в тёмное шерстяное платье и шёлковый платок; торжественно подошла она к бабушке, три раза с нею поцеловалась, обменялась яйцами и, поклонившись ей в пояс, перехристосовалась таким же образом со всеми в комнате. Я засуетилась, разыскивая между множеством своих яиц то, которое приготовила няне; она ему была очень рада. По её примеру мы все стали христосоваться и меняться яйцами, только я всё забывала каждому, кто говорил мне: "Христос воскрес!" -- отвечать: "Воистину воскрес!".

Одевшись, мы все пошли к дедушке вниз пить с ним кофе; а потом поднялись в зал, где нашли очень много гостей: всё мужчины, в мундирах, вышитых золотом, из-за которых я не узнавала очень многих знакомых, потому что никогда не видала их такими блестящими.

Бабушка, мама и тётя Катя всех угощали за длинным столом, покрытым бабами и разными кушаньями; только я заметила, что все очень мало ели и всё куда-то спешили. Пришли священники и певчие; пропели "Христос воскрес" и все комнаты окропили святой водой.

Приехал архиерей Иаков, высокий, красивый старик с длинной белой бородой. Все подошли под его благословение и целовали ему руку. Он прошёл с дедушкой и бабушкой в гостиную, где тотчас же смолкли громкие разговоры и смех гостей, и все они стали разговаривать очень тихо и серьёзно. Я всё это по своему обыкновению наблюдала и думала свою думу, рассматривая внимательно блиставшие на груди архиерея звёзды и кресты с разноцветными камнями.

"Какой он высокий и важный! -- размышляла я. -- Вот и Алеева такая же красивая и высокая... Жаль только, что у неё нет таких звёзд!.. А какой красивый белый крест у него на клобуке. Как блестит!.."

Когда он уехал, я сказала тёте Наде:

-- Надя! А, Надя! Как ты думаешь, ведь хорошо было бы, если б Алеева обвенчалась с архиереем?

-- Что?.. -- расхохотавшись вскричала тётя. -- Ты хочешь обвенчать их? Отлично!.. Маменька! Леночка! Послушайте-ка, что тут Вера рассказывает: она предлагает женить архиерея на монахине Алеевой.

Все так расхохотались, что я чуть не заплакала, покраснев и не зная, куда деваться.

-- Ну, что же такое? -- говорила я сквозь слёзы. -- Я только потому, что они оба старые и такие красивые, важные... Я только так сказала... Что же такое? Он монах, и она тоже...

-- Он монах, и она монахиня, -- так потому их и женить? -- поддразнивала меня Лёля.

-- Дурочка, ты моя дурочка! -- смеясь сказала мама. -- Монахи и монахини не могут ни жениться, ни замуж выходить.

-- Вот ещё! Отчего не могут? -- спросила я таким голосом, будто бы это меня очень обижало, и в ту же минуту, не совладав с собою, закрыла лицо руками и горько заплакала.

-- Эх, ну что, право! -- подроспела ко мне на выручку бабушка. -- Перестань плакать, Верочка. Раздразнили тебя, бедную!.. Полно же, полно!

В эту минуту отворилась дверь, и шурша длинной рясой в зал вошла сама Алеева. Я стояла на стуле, куда меня поставила возле себя бабушка, и поспешила спрятаться за неё. Монахиня, поздоровавшись со всеми, с удивлением спросила, глядя на меня:

-- Что это с Верочкой? Чего она так плачет?

Все ей отвечали одними улыбками и смехом.

-- Да, вот из-за вас! -- сказала бабочка, стараясь сдержать улыбку, чтоб меня ещё больше не раздразнить.

-- Из-за меня?! Как так? -- удивилась Алеева.

Мама начала рассказывать ей сквозь смех:

-- Да вот, видите ли, сейчас был у нас Преосвященный Иаков и так понравился Верочке, что она непременно захотела его с вами обвенчать и вот сердится, зачем мы сказали, что вы не можете за него выйти замуж...

Уж и не знаю, как это я решилась тут взглянуть одним глазком на монахиню... Я видела, как она приподняла вверх свои широкие брови, как дрогнул её красивый рот, удерживая весёлую улыбку... Но в ту же минуту она ласково взяла мою руку и проговорила совершенно серьёзным голосом:

-- А вот что!.. Ну, что же? Спасибо Верочке, что она так обо мне заботится!.. Прекрасную партию она для меня нашла. Спасибо!.. Вот тебе за это золотое яичко.

Я, не подымая головы, взяла из рук её яйцо и только после усиленных уговоров бабочки решилась отереть слёзы. В моём яйце оказались ножницы, напёрсток, игольник, а в другой половине -- крошечный молитвенник с картинками.

-- Это значит, что тебе скоро пора уметь шить и читать, -- объяснила мне Алеева.

Тут приехали новые гости и Анна Ивановна, которая шепнула мне, что привезла Груню Зайцеву. Я сейчас же убежала показывать ей свои новые игрушки. Скоро приехали Клава и Юля Гречинские, и мы превесело провели весь день, играя в куклы и катая яйца в длинной галерее. Мы столько набили их, что баба Капка разворчалась, что больше нет у неё красных яиц. Но мы только смеялись, не веря ей; мы знали очень хорошо, что в кладовой у неё целая кадка с опилками и красными яйцами.

Вечером, когда папа большой ушёл спать, гости разъехались, и все сидели в жёлтой диванной, мы не забыли напомнить бабочке об обещанной сказке, о старике с колбасой.

-- А!.. Вспомнили! -- улыбнулась нам ласково бабушка. -- Ну садитесь, слушайте.

Мы живо разместились возле неё на диване и наострили уши.

"В те далёкие-далёкие времена, когда на белом свете ещё водились колдуны и волшебники, -- начала рассказывать бабушка, -- жили-были старик со старухой. Они были очень бедны. Раз, сидели они перед пустым камином, которого им нечем было истопить, и печально разговаривали.

-- Ах! -- молвил старик. -- Хоть бы явилась нам какая-нибудь добрая фея и дала всё, что нам нужно!

-- Да! -- согласилась жена его. -- Это было бы большое счастье. А что бы мы у неё попросили?

-- Нам, правда, нужно столько, что я не знал бы, чего прежде просить? заметил старик.

-- Вот глупости! -- накинулась на мужа старушка. -- Мало ли что?.. Я бы попросила полную кадку золота, вечную молодость, красоту!..

-- Та-та-та! -- рассердился муж. -- Сейчас видна баба. На что тебе красота?.. Уж лучше проси здоровья да хороший ужин, а то у меня от голоду даже желудок подвело.

-- Старый обжора! -- закричала жена. -- Дурень! -- Были бы деньги, а ужин найдётся!..

Так они сидят да ссорятся, вдруг слышат тоненький голосок:

-- Перестаньте! Стыдно браниться!

И в ту же секунду из каминной трубы спустилась маленькая, блестящая волшебница...

Старики так и ахнули!

-- Ну, -- сказала ласково фея, -- позволяю вам сделать три желания, которые я тотчас исполню.

Бедный старичок был так голоден, что сам не успел опомниться, как сказал:

-- Чтоб сейчас же предо мной явилась хорошая колбаса!..

Колбаса тут как тут очутилась пред ним на тарелке, да ещё и с ломтём хлеба в придачу.

-- Ух! -- как рассердилась старуха, что он сделал такое глупое желание. Вдруг она как крикнет. -- Ах ты, старый дуралей!.. Да чтоб эта колбаса тебе к носу приросла!..

И послушная колбаса прыгнула с тарелки и в тот же миг приросла к носу бедного старика...

-- Ай, ай, ай! -- завопил старик. -- Что я буду делать!? Куда мне, горемыке, деваться?.. Все люди будут смеяться, что у меня вместо носа -- колбаса! Ах, я несчастный!

Что тут было сделать старушке? Ведь она любила своего мужа... Нечего делать: пришлось пожелать, чтобы колбаса от носа отвалилась...

-- Ну, вот я и исполнила все три ваши желания! -- сказала, смеясь волшебница и исчезла.

А бедные, глупые старики так и остались ни с чем, кроме одной колбаски, которую тут же и скушали".

-- Вот вам и вся сказка, дети, -- заключила бабушка. -- Как же вы думаете: какой её смысл? Чему она учит?

-- Не ссориться, -- сказала было я.

Но сестра Лёля расхохоталась так громко, что моего предположения никто и не слышал, и с уверенностью закричала:

-- Я знаю! Эта сказка нас учит всегда желать чего-нибудь получше немецкой колбасы.

Все засмеялись, но бабочка сказала, покачив головою:

-- Нет, душа моя. Нравоучение этой сказки именно и заключается в той пословице, которую я вчера вам сказала: кто много желает, тот ничего не получает.

-- Или, по-русски: "за двумя зайцами погонишься, -- ни одного не поймашь!" -- пояснила мама.

Очень усталая и счастливая легла я в этот вечер спать, хотя и не выросла, как обещала мне бабочка, не только на аршин, а даже ни на вершок.

Наша дача

Вскоре после Пасхи наступила настоящая весна. Двойные рамы вынули из окон; бабушка выставила свои цветы из гостиной и диванной, где они стояли пред окошками, на **горках**, на балкон; солнышко весело светило и грело, а широкая Волга разлилась, затопила синими водами все островки и берега.

Я сидела подолгу на любимом месте своём, в детской на окне, теперь часто открытом, прислушивалась к весёлому шуму на улицах, к журчанью воды, грохоту давно не слышанных колёс, птичьему гаму на бульваре соборной площади, где все аллеи ещё сквозили, непокрытые зеленью, и к неумолчному воркованию голубей на нашей крыше. Помню, что голуби меня ужасно занимали. Я следила за всеми их движениями, когда они прохаживались под моим окном, заставляя железные листы крыши слегка погромыхивать; за кокетливыми изгибами и поворотами их хорошеньких головок, за турухчанием и воркованием их, стараясь им подражать и придумывая, что бы такое они друг другу рассказывали?..

Недельки через две всё зазеленело светлой, молодой листвой, и нас каждый день стали водить гулять. Мы собирались после уроков возле собора на бульваре: играли в разные игры с подругами, бегали и веселились, так что стон стоял по аллеям от нашего смеха и криков.

Но больше всего любила я ездить с бабушкой на нашу дачу. Она в ней распоряжалась поправками к летнему житью; а я бегала в липовых аллеях и на лугу перед рощей, собирая фиалки, радуясь, что со всяким днём всё лучше зацветает.

Но вот было счастье, когда нас перевезли туда. Дача наша совсем была недалеко от города, на опушке рощи, которая становилась всё гуще, спускаясь к Волге, и наконец превращалась в настоящий лес.

Дом был старинный, каменный, с расписными потолками в цветах и амурах; с двумя балконами, опиравшимися на толстые колонны, с густым сиреневым палисадником. Один балкон спускался в него боковыми ступеньками; другой, побольше, выходил к трём густым липовым аллеям, которыми начиналась роща. Невдалеке аллеи эти перерезывал провал, всё увеличивавшийся от дождей и превращавшийся далее, влево, в глубокий овраг, приводивший к Волге. Направо от аллей начиналась бахча, т. е. поле, засеянное арбузами, дынями и огурцами; налево, с обеих сторон оврага, шла прелестная лужайка, поросшая разноцветным шиповником и цветами, где мы, бывало, ловили бабочек. Далее, впереди оврага, продолжалась роща, выводившая к так называемой **большой** даче, о которой речь будет впереди, -- в это лето она стояла пустая; а за оврагом, в конце прямой аллеи, ведущей от этой большой дачи, был пруд, за которым уж роща обращалась в лес. Но ближе к нам, рядом с обеими дачами, был чудесный, грунтовой сарай. Вы не знаете, может быть, что это такое?.. Это большое место, закрытое высокой стеной от северных ветров, с дощатой крышей, которой прикрывают его на зиму от снегов и мороза, а на лето снимают, заменяя её только сеткой от прожорливых воробьёв. В этом сарае содержат, непривычные к холодам, плодовые деревья.

Уж как я любила, расжарившись, ловя бабочек или собирая цветы на лугу, зайти в этот тенистый грунтовой сарай, где с высоких, зелёных деревьев висели -- ах! какие славные чёрно-красные или янтарные, наливные шпанские вишни!.. Нас всегда там угощали и даже позволяли самим рвать и делать из ягод красивые букетики.

Если, не сворачивая, идти, бывало, прямо по единственной, тогда не тронутой ещё провалом, правой липовой аллее, то она скоро приводила к нескольким дорожкам, расходившимся звездой, в разные стороны рощи, а как раз в середине этого перепутья стояла деревянная беседка, -- круглый большой павильон, с круглым же куполом на столбах, -- место многих наших увеселений.

Я смалу была ужасная фантазёрка и часто выдумывала сама для себя целые истории обо всём, что мне на глаза попадалось. Я очень любила одна забираться в рощу и ничего в ней не боялась. Усажу, бывало, усталую няню на ступеньки беседки, сказав, что только нарву букет и сейчас вернусь, а сама заберусь в чащу да и забуду о цветах. Хорошо было в нашей тенистой, прохладной роще!.. Стою я себе, опустив руки, неподвижно среди высоких белых берёз, под которыми, пробиваясь сквозь бурю насыпь прошлогодней листвы, белеются пахучие ландыши словно жемчуг, нанизанный на тонкие стебельки; стою, любуюсь и прислушиваюсь... Как тихо! Казалось, будто жучки, пчёлы, стрекозы и всякие букашки, так весело жужжавшие на полянах, залитых солнцем, боялись лесной темноты и сюда не залетали. Даже птицы не заливались хором как в саду и в аллеях, а изредка, несмело чирикали и посвистывали в одиночку, где-нибудь на верхушке дерев. Только муравьи да длинноногие пауки быстро бегают, мелькая среди подвижного узора светлых пятен, у ног моих на серой земле... Смотрю я на них и думаю: "Чего они бегают, суется? Что они ищут, куда спешат?.." А то закину голову вверх и любуюсь: как славно отделяются кудрявые макушки деревьев на светлом небе!.. Как трепещет высоко в воздухе какой-нибудь молоденький листок. "Бедняжка! -- думала я. -- Такой он маленький, слабенький! Ветер так его и треплет: сейчас оторвётся и закружится, полетит на землю"... Я даже и руку протягивала, готовясь налету поймать его. Но листок и не думал падать. Он крепко держался стебельком за мать-берёзу и с каждым днём рос и креп, пока стояло красное лето; а осенью, когда все листья желтели и падали на землю умирать, я, наверное, его бы не узнала, такой он был тогда большой красный и высохший.

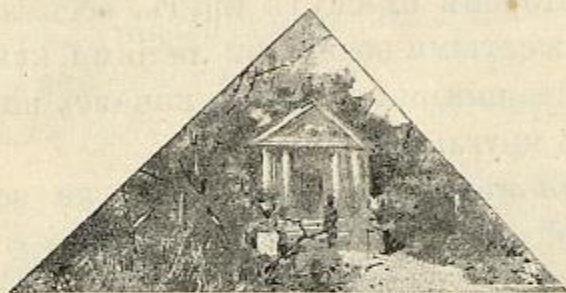
Бог знает, о чём только я не передумывала в такие одинокие прогулки?.. Теперь забыла свои мысли, но знаю, что их было много, и что часто мне представлялось, что я не одна думаю свои думы, а что всё, что меня окружало: берёзы, тихо шептавшие над головой моей, и ландыши, приветливо глядевшие на меня из-за тёмной зелени, и чирикавшие птички, и бабочка, садившаяся неподалёку на цветок, -- всё, одним словом, знает мои мысли, понимает меня и молча со мною соглашается... И так хорошо, так весело бывало мне одной в милой роще, как никогда не бывало с шумливыми подругами.

Хотя в то время роща казалась мне дремучим, бесконечным лесом, в котором легко было набрести на что-либо такое, **о чём в сказках говорится**, но я в ней никогда не знала страха (кроме одного случая, о котором расскажу после). Я искренно верила, что стоит только пройти подальше, и непременно набредёшь на Бабу-Ягу, с её домиком на курьих ножках и ступой перелётной, вместо экипажа; встретишь лешего, разбойников и чуть ли не самого Змея Горыныча! Все эти чудеса занимали меня ужасно, но совсем не пугали.

Очень часто, забравшись в такую чащу, что ничего кругом, кроме стволов древесных да просветов неба над головою и видно не было, я чутко прислушивалась: не идёт ли кто? Не летит ли?.. Не слышно ли чьего голоса или лошадиного топота? Не раздастся ли посвист молодецкий или плач королевны, заведённой девкой-чернавкой на съедение волкам? Я зорко вглядывалась, уверенная, что могу увидеть что-нибудь таинственное, и не раз сердце моё замирало и крепко билось от ожидания.

Нечего и говорить, что я была такая храбрая именно потому, что со мной никогда ничего в роще не случалось; а, не дай Бог, представься мне только что-нибудь необыкновенное, я бы, пожалуй, со страху умерла, потому что в сущности я была большая трусиха, что доказала моя история с Жучкой, и ещё докажет следующая глава.

именно потому, что со мной никогда ничего въ рощѣ не случилось; а, не дай Богъ, представься мнѣ только что-нибудь необыкновенное, я бы, пожалуй, со страху умерла, потому что въ сущности я была большая трусиха, что доказала моя исторія съ Жучкой и еще докажетъ слѣдующая глава.



XIV.

Н а п р у д у.

Разъ Леля зазвала насъ за бахчу на далекій прудъ, куда мы никогда не ходили. Это былъ не тотъ прудъ въ рощѣ большой дачи, о которомъ я выше говорила: тотъ былъ гораздо ближе. Мы отправились, позавтракавъ, прямокомъ чрезъ бахчу, гдѣ на взрытой, пригрѣтой солнышкомъ землѣ зрѣли арбузы и желтыя дыни. Изъ-подъ нашихъ ногъ то и дѣло взлетали стаи воробьевъ, нисколько не боявшихся разставлен-

ками и обращаясь къ намъ будто актриса къ зрителямъ. Надя старалась какой-то палкой съ крючкомъ на концѣ зацѣпить и сорвать лилію; а я, любуясь на гусиную семью, вдругъ сказала:

— Какъ бы я хотѣла, чтобъ и маленькіе гуси спустились въ воду!

— Ну чтожь! ихъ сейчасъ можно согнать, сказала сестра, прыгнувъ съ пня на землю и нагинаясь за камешкомъ.

— Ахъ! нѣтъ, остановила я ее за руку: — не



бросай камнями, пожалуйста! Еще попадешь въ гусенка.

— Вотъ еще глупости! Нѣжности какія!... Я ихъ сейчасъ прогону съ островка.

— А вдругъ они еще не умѣютъ плавать? Вдругъ они утонутъ, кричала я въ ужасномъ безпокойствѣ.

— Гуси-то? расхохотались надо мной тетя

Какъ я была маленькой. 2-ое изд.

Раз Лёля зазвала нас за бахчу на далёкий пруд, куда мы никогда не ходили. Это был не тот пруд в роще большой дачи, о котором я выше говорила: тот был гораздо ближе. Мы отправились, позавтракавъ, прямоком чрез бахчу, где на взрытой, пригретой солнышком земле зрели арбузы и жёлтые дыни. Из-под наших ног то и дело взлетали стаи воробьёвъ, нисколько не боявшихся расставленных во всех концах чучел, воробьиных пугал.

Я должна признаться, к своему стыду, что мы, идя по меже, то и дело уподоблялись этим прожорливым воришкам, потому что, нисколько не стесняясь, рвали молоденькие чужие огурчики и с большим аппетитом их ели. Вот в стороне блеснул пруд, весь заросший травой и жёлтыми водяными лилиями, кувшинчиками, блиставшими на солнце, качаясь на своих широких круглых листьях.

-- Точь-в-точь печёная репа на зелёных тарелках! -- объявила Лёля.

Мы подошли ближе. Вокруг пруда росли кусты, и стояла, опустив серебристые ветви в воду, старая, сверху подрубленная, ива; в середине же его, весь заросший камышом, был маленький островок, по которому ходило стадо крошечных гусенят, пощипывая травку. Они как жёлтые пуховые шарики переваливались с ножки на ножку, толкаясь, отряхая крошечные крылышки, гогоча вокруг матери-гусыни, которая важно поворачивала длинную шею, чистя носом свои перья. Серый гусь плавал в стороне, между лилиями, высоко держа голову, не поворачиваясь ни вправо, ни влево, только изредка перебирая под водой широкими красными лапами.

Лёля взобралась на пенёк и распевала какую-то песню, с разными руладами, размахивая руками и обращаясь к нам будто актриса к зрителям. Надя старалась какой-то палкой с крючком на конце зацепить и сорвать лилию; а я, любуясь на гусиную семью, вдруг сказала:

-- Как бы я хотела, чтоб и маленькие гуси спустились в воду!

-- Ну что ж! Их сейчас можно согнать, -- сказала сестра, прыгнув с пня на землю и нагинаясь за камешком.

-- Ах! Нет, -- остановила я её за руку, -- не бросай камнями, пожалуйста! Ещё попадёшь в гусёнка.

-- Вот ещё глупости! Нежности какие!.. Я их сейчас прогоню с островка.

-- А вдруг они ещё не умеют плавать? Вдруг они утонут, -- кричала я в ужасном беспокойстве.

-- Гуси-то? -- расхохотались надо мной тётя Надя и Лёля и начали кричать, спугивая гусей, махать палкой и бросать в них, чем попало.

Гуси всполошились. Мать, присевшая, было, отдохнуть на солнышке, беспокойно поднялась и озираясь гоготала, сзывая своих детей, которые, толкаясь и бросаясь в разные стороны, спешили за нею в пруд, кувыряясь и клюя носиками воду. Гусь, не обращая никакого внимания на догонявшую его встревоженную семью, поплыл быстрее к другому берегу.

Один маленький гусёнок всё отставал, жалобно пища и напрасно стараясь догнать уплывавшую мать...

-- Оставь! Оставь, пожалуйста! -- уговаривала я, хватая Лёлю за руки. -- Ведь уж они в воде! Ведь уж плывут!.. Оставьте же! Зачем ещё бросать?

Но Надя с Лёлей не унимались. Не слушая меня, одна из них схватила с земли большую палку и пустила её вслед уплывавшим гусям.

Те метнулись с громким криком в разные стороны; большие даже взмахнули сильными крыльями и полетели, но гусыня сейчас же снова тяжело опустилась на воду, собирая и подгоняя своих перепуганных детей.

Один гусь только, поджав ноги и распутив широко крылья, продолжал лететь прямо к шалашу, которого мы совсем не заметили. Наконец, вся птичья семья добралась до земли. Переваливаясь, с громким криком всё стадо пустилось бежать к тому же шалашу... На взбаламученной воде, расходившейся кругами и рябью, остался только один маленький гусёнок, что давеча всё отставал, но только теперь он уж не плыл, а, повернувшись беленьким брюшком вверх, неподвижно качался на воде...

Увидав, что они наделали, Надя с Лёлей беспокойно переглянулись; а я закричала и залилась слезами.

-- Убили! Вы его убили! -- неутешно повторяла я. -- Злые! Гадкие!.. Я говорила вам!..

-- Молчи! Говорят, тебе, -- молчи! -- унимали они мои крики. -- Уйдёте поскорее!.. Вон женщина идёт сюда из шалаша. Скорее! Это сторожиха!..

И они бросились бежать.

Я взглянула и увидала быстро шедшую к нам женщину, с очень сердитым лицом. Забыв слёзы, я бросилась вслед за ними; а женщина, увидав убитого гусёнка, тоже побежала за нами вдогонку.

-- Ах, вы, негодные девчонки! -- кричала она нам вслед. -- Бесстыдницы! Гусёнка убили. Бросать камнем в чужую птицу!.. Вот я вас!

И женщина, преследуя нас, не переставала кричать и браниться до самой рощи.

Мы бежали. Надя и Лёля с громким смехом впереди; я -- сзади, отстав как давешний гусёнок, с ужасом прислушиваясь к топоту за мной и ожидая, что вот-вот поймает меня эта страшная женщина...

Но, слава Богу, -- вот и дача. Мы стремглав, едва переводя дух, повернули в аллею.

-- Ишь улепётывают! Хороши барышни! Озорницы эдакие!.. -- раздавалось за мною. -- Вот догоню я вас, стойте!.. Я вам задам!

Вдруг женщина в недоумении остановилась, увидав, что мы бежим к балкону, где в ожидании обеда собрались все наши.

-- Ишь их! -- укоризненно пробормотала она. -- А ещё губернаторские!..

Она повернула и пошла назад, тяжело отпыхиваясь.

Мы вбежали на крыльцо. Надя села на ступеньки, едва переводя дух от усталости и смеха; Лёля вбежала на балкон, подпрыгнула и с хохотом повисла на шее тёти Кати; а я бросилась к вечной своей заступнице -- бабочке.

-- Что с вами, дети?.. Чего вы испугались? -- спрашивали нас.

-- Да Вера на бахче гусёнка убила! -- закричала Лёля.

-- Ах! -- успела я только ахнуть в негодовании.

-- Неправда! -- вскричала тётя Надя. -- Ну зачем ты, Лёля, глупости говоришь и неправду? Не Верочка убила, -- а мы.

И Надя рассказала всё, как было.

-- Фу, срам какой! Ну не стыдно ли вам так вести себя? -- сказала бабушка.

-- Ничего не делают! Не учатся совсем они теперь, -- заметил дедушка, прохаживаясь по балкону.

-- Этого мало, что они с Антонией Христиановной занимаются: надо, чтоб к ним сюда из города ездили учителя. А то они совсем испалились. Надя большая уж, чуть не взрослая девушка, а тоже не прочь с племянницами колобродить!.. Не стыдно ли, сударыня?..

Надя, не отвечая ни слова, встала и ушла. Она очень не любила, когда ей делали замечания. Лёля присмирела, усевшись у ног тётки Кати, с улыбкой, разглаживавшей её серебристые, курчавые как у барана волосы, которые сейчас же топорщились, вздымаясь из-под тёткиной маленькой ручки.

-- Это, верно, сторожихины гуси, -- сказала бабочка, -- с бахчи?.. Надо ей заплатить за гусёнка... Большой он, Верочка?

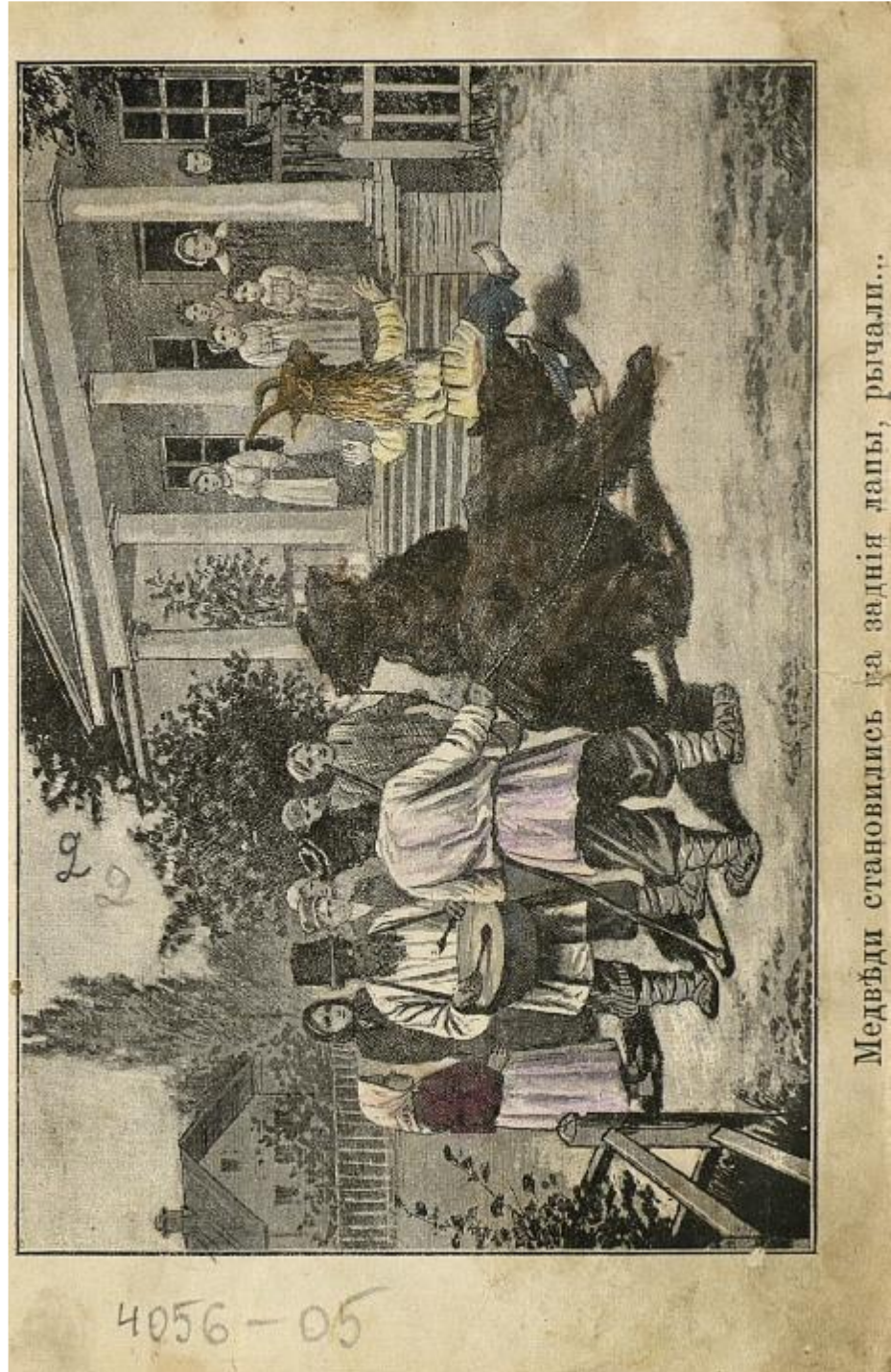
-- Нет, крошечный! Такой бедненький, маленький!.. Всё отставал... Я говорила, что они убьют его, -- они не слушались. Так мне его жалко! -- говорила я, снова чуть не плача.

-- Ах ты, мышка, мышка черноглазая! -- взял меня дедушка за подбородок. -- Чуть ли ты не умнее старшей сестрицы и тётушки своей, а?..

-- Ещё бы! Конечно, умней! -- смеясь подтвердила моя добрая, дорогая бабочка, с такой уверенностью, будто это и в самом деле была правда.

С этих-то пор я и не хотела больше гулять с Лёлей и Надей, а всегда ходила с большими или тихонько убегала совсем одна. Это тоже было нехорошо. Хотя роща наша была как сад со всех сторон закрыта, но пятилетнего ребёнка мало ли что может напугать!.. Сейчас расскажу вам, какого я раз набралась страху в моей любимой роще.

Медведь



Медведи становились на заднія лапы, рычали...

Случилось это в начале лета. Няня Наста была не совсем здорова, и потому ко мне временно приставили для игр и прогулок молодую горничную Парашу. В одно утро мы с нею в палисаднике играли в городки! Она ломала ветки белой и лиловой сирени и, втыкая их в землю, делала аллеи; из щепочек и колышков мы строили дома; из кусочков стекла, обложенных землёю, устраивали пруды и колодцы, из прутиков выводили заборы и ворота. Таким образом у нас росли целые города, по которым мы водили гулять моих кукол.

Вдруг Жучка, лежавшая неподалёку, свернувшись клубочком, подняла голову и, насторожив уши, зарычала.

-- Цыц! Чего ты, глупая? -- прикрикнули мы на неё; но собака не слушалась и, поднявшись на ноги, всё сердитее ворчала.

Параша стала на палисадник, чтоб заглянуть чрез кусты в поле, отделявшее дачу от города. В ту же минуту там забарабанили, защёлкали, загремели чем-то железным, а Жучка рванулась, залаяла как бешеная, хрипя, вся оцетинившись, и в один прыжок исчезла за калиткой. Мы тоже бросились за ней во двор и увидели в воротах каких-то мужиков с двумя огромными медведями на цепях. Вокруг них, приплясывая под барабан, щёлкая деревянными челюстями, увивался мальчишка, одетый козой. Мужики барабанили, выкрикивая свои приказания медведям; те становились на задние лапы, рычали и гремели цепями; Жучка заливалась лаем: кутерьма была страшная! В первую минуту я испугалась; но потом, когда все высыпали на крыльцо смотреть медвежьё пляску, я очень смеялась, глядя на их косолапые штуки. Один из них, очень большой сильный медведь, особенно смешно представлял, "как тихо бабы на барщину ходят и как с барщины скоро домой бегут"; "как ребятишки горох воровать крадутся, а красные девушки в зеркальце смотрятся".

Мужикам заплатили; Михайлу Иваныча и Марью Михайловну Топтыгиных угостили хлебом, сахаром и водкой, которую они очень ловко выпили, взявши стаканы в свои мохнатые лапы, и они ушли восвояси, а я вернулась в палисадник к своим постройкам.

Перед обедом я шла наверх, в детскую, чтоб оправить волосы и платье, когда меня остановил на лестнице испуганный шёпот Даши.

-- Барышня! А, барышня! -- говорила она. -- Знаете? Медведь-то большущий самый убёг!.. Сорвался с цепи и убёг в рощу. Вот страх какой!..

-- Неправда. Кто тебе сказал?..

-- А кучер Фока сказывал. И Ванька-"**фолетор**" тоже видал... Они оба в рощу побегли вожакам помогать изловить его. Вот, барышня, теперь полно в рощу-то бегать: страшно!

-- Vêrà, -- раздался голос Антонии, -- que faites vous là bas! Venez, je vous arrangerai pour le diner. [*Вера, что вы там делаете! Приходите, я приготовила для вас ужин -- фр.*]

Антония никогда с нами не говорила иначе как по-французски. Я даже была уверена долго, что она по-русски совсем не умеет, -- так она нас уверила, чтобы мы скорее выучились.

За обедом я передала известие о медведе Елене, и она сейчас же громко это всем объявила.

-- Неужели это правда? -- обратилась бабушка к служившим за столом лакеям.

Дворецкий Яков отвечал, что слышал, но, наверное, не знает; а молодые лакеи, Константин и Пётр, подтвердили рассказ Даши.

Бабушка встревожилась. Тёти и дядя Ростя, приехавший к нам на лето из Петербурга, где он учился в артиллерийском училище, начали её успокаивать тем, что у медведя нет ни когтей, ни зубов.

-- Да на что ему когти и зубы? -- говорила бабушка. -- Он просто задушить может при встрече.

-- Да, разумеется, в медвежьи объятия попасть не совсем приятно, -- согласилась мама.

А папа большой сказал, что прикажет узнать достоверно, и что если это только правда, то его поймать нетрудно, окружив рощу облавой.

-- Верочка, что ты так испуганно смотришь? -- обратилась ко мне тётя Катя.

-- Что ты глаза выпучила, будто подавилась? -- закричала Лёля.

-- Какие прелестные выражения! Как не стыдно так глупо говорить? -- остановила её мама. -- О чём ты задумалась, Верочка, что с тобой?

Я отвечала, что ничего, так себе...

-- Ты не вздумай бояться, -- продолжала мама. -- Медведя, если он убежал, сегодня же поймают.

-- Я не боюсь! -- отвечала я.

Но это была неправда: как я ни старалась, никак не могла забыть, что огромный медведь поселился в нашей роще и во всякую минуту может свободно явиться к нам.

С вечера поднялся ветер; зашумели высокие деревья, ставни наши закрипели, и то и дело хлопали где-нибудь двери. Мне стало ещё страшней. Я всё прислушивалась и поминутно вздрагивала. Когда меня уложили в постель, я никак не могла заснуть; мне всё казалось, что вот-вот откроется дверь, и вместе с воем ветра раздастся страшное медвежье рычание...

Как я жалела, что няня была больна и не могла рассказать мне сказки!.. Пробовала я попросить Антонию разговаривать со мной; но она отвечала, что очень занята и продолжала писать в смежной комнате. Пришла Лёля ложиться, а я всё ещё не спала.

-- Ты чего не спишь? -- спросила сестра.

-- Не знаю... Лёля ты не слышала: поймали медведя?

-- Ах, нет! -- важно покачала она головой. -- Говорят, он спрятался в нашем овраге.

Она переглянулась с маменькиной горничной Машей, которая её раздевала вместо няни Насты, и заговорила шёпотом:

-- А ты знаешь, что медведи по ночам всегда за добычей выходят?.. А овраг-то близко!

-- Ах! Не говори! -- вскричала я, затыкая себе уши.

Лёля села в одной рубашке на край своей кровати, обхватила руками колени и, раскачиваясь туда и сюда, заунывным голосом запела давно знакомую нам старую сказку:

"Я -- скрипун-скрипун медведь

Да на липовой ноге.

Уж все сёла спят, все деревни спят;

Одна девочка не спит -- на моей коже сидит!

Мою шёрстку прядёт, мою лапу сосёт!..

А пришёл-то я затем,
Что я ту девчонку... съем!..."

И с этим последним словом, которое она громко закричала, Лёля неожиданно набросилась на меня, ещё громче крича:

-- Ай! Вот он! Медведь!.. Спасите!!

Не могу рассказать, что тут случилось. Знаю только, что я так ясно представила себя в лапах косматого медведя, что вскрикнула не своим голосом и бросилась, вся дрожа, на шею к прибежавшей в испуге Антонии.

Мы такого наделали шуму, что снизу прибежали тёти узнать, в чём дело, и мама с бабушкой уже хотели всходить на лестницу; но тётя Катя, боясь за маму, которая была больна, закричала им сверху, что это пустяки, что я перепугалась чего-то во сне и теперь уж успокоилась. Бабочка, проводив маму назад в гостиную, где они играли с папой большим в карты, всё-таки вернулась к нам, беспокоясь обо мне. Я лежала ещё вся дрожа в своей кровати; а Антония сидела возле, успокаивая меня и браня Лёлю, и без того сильно сконфуженную. Крепко ей досталось и от бабушки, хотя я и уверяла, что это ничего, что уж я больше не боюсь...

Мне, действительно, было очень стыдно своего глупого испуга, наделавшего переполох во всём доме.

Несколько дней после этого я всё-таки ещё помнила о медведе и боялась оставаться в сумерки одна на балконе; а гуляя, постоянно оглядывалась при каждом шорохе. Наконец, впечатление страха изгладилось, и я совершенно забыла, как и другие о медведе и обо всей этой истории.

Страшная встреча

В один день утром мы все, т. е. Надя, Лёля и я, собрались идти в рощу за бабочками, в сопровождении Натальи, старшей бабушкиной горничной и ещё двух или трёх горничных, с сетками и ящиками. Я ведь говорила вам, что у бабушки были большие коллекции всяких насекомых?..

Её кабинет был полон замечательных коллекций не только бабочек, но разных зверей и птиц, древностей, монет, окаменелостей и всевозможных редкостей. Многие учёные люди были в переписке с бабушкой и нарочно приезжали издалека, чтоб с нею познакомиться и посмотреть её кабинет... Но я расскажу вам о нём подробнее позже, хотя в то время я ещё была слишком мала, чтоб замечать то, о чём придётся мне говорить с вами, когда я дойду до описания её кабинета.

Я тогда только знала, что бабушка накалывает бабочек и жуков рядами в стеклянных ящиках с надписями над каждым из них; но зачем ей были они нужны, -- меня совсем не занимало.

Итак, мы отправились с сетками на плечах, очень довольные предстоявшей прогулкой. День был чудесный; солнце ярко горело в безоблачном небе, птицы заливались, и пчёлы неумолчно жужжали в цветущей липовой аллее. Когда мы вышли на лужайку, за оврагом, у нас глаза разбежались на яркие цветы, пестревшие в нескошенной траве, на белый, жёлтый и розовый шиповник, на множество мотыльков, букашек и мушек, порхавших между кустами, жужжа и переливаясь в горячих лучах света.

Мы горячо принялись за работу, но, правду сказать, более разгоняли бабочек, чем их ловили. Я даже вовсе не ловила; мне так было жалко бедняжек, когда Наталья или Матрёна, тётиня горничная, придавливали им головки и полумёртвых клали в картонный ящик, что почти каждый раз, как попадалась ко мне в сетку пёстрая бабочка, я, полюбовавшись ею, пускала её на волю.

Радостно следила я, как она вылетит из сетки, трепеща крылышками; бросится будто от страха, в одну сторону, в другую, потом полетит плавнее и пойдёт спускаться с одного цветка на другой, облетая каждый, будто выбирая лучший... Наконец, выберет, -- легонько уцепится тоненькими лапками и качается вместе с цветком, медленно закрывая и распуская пёстрые крылышки... Мурлыкая себе какую-то песенку, беспрестанно останавливаясь, чтоб сорвать цветок или поближе рассмотреть какую-нибудь козявку, заползавшую в чашечку шиповника, я направилась к опушке рощи. Мне было очень жарко; меня манила туда тень и прохлада.

Я оглянулась...

Лёля с Надей растянулись в тени большого куста шиповника в пахучей траве и громко смеялись, о чём-то разговаривая; три девушки разбрелись в разные стороны, занятые ловлей бабочек; на меня никто не обращал внимания... Я дошла до рощи, сняла с шеи платочек, сбросила шляпку с разгоревшегося лица на спину и побрела себе, сама, не зная зачем, в самую **частую чащу**. Мне очень хотелось зайти как можно глубже в лес, - спрятаться от палившего меня жара, но странно!

-- Чем более подвигалась я между деревьями, они словно редели предо мною... Чаща расступалась, убегала всё дальше и дальше как заколдованная, и я никак не могла в неё углубиться.

"Сяду-ка я, отдохну немножко!" -- подумала я, лениво раздвигая ветви березняка и едва переступая от усталости. Я подошла к высокой берёзе и села у подножия её, разроняв все набранные мною цветы и сетку бросив в сторону. "Хорошо бы было подложить под голову все эти цветы, -- думалось мне уже сквозь сон. -- Так бы славно заснуть на колокольчиках и ландышах... И сколько их тут ещё растёт... белеется кругом... Сейчас нарву ещё и подложу вместо подушки"...

Но я не успела исполнить этого, потому что глаза мои сомкнулись, голова прислонилась к стволу берёзы, и я сладко уснула.

Долго ли я проспала? -- Не знаю. Я вдруг разом проснулась, испуганная каким-то, показалось мне, рычанием или рёвом...

Я села, сразу выпрямившись и широко открыв глаза, прислушивалась.

"Что это? -- Показалось мне это или в самом деле?.. Да где же это я?.. Ах! Да это я в лесу заснула, и уж кажется вечер?.. Да где же все?.."

"Надя! Лёля!" -- собралась я, было, закричать... но вдруг что-то опять невдалеке от меня засопело, и я так и застыла с открытым ртом, словно захлебнувшись собственным голосом.

Захрустели ветви, зашелестел кустарник, и поднялось из-за него что-то тёмное, большое, прямо надо мною.

"Медведь!" -- как молния блеснула мне мысль, и я, не помня себя, с громким криком повалилась лицом на землю. Нехорошую минутку пережила я тут, лёжа в ужасе, вся похолодевая, ожидая... **Что-то** подошло ко мне, наклонилось и вдруг, облапив, приподняло с земли.

В ушах у меня зазвенело, в глазах стало темно, и с громким криком я рванулась и, размахнувшись, что было силы, ударила медведя по лицу!..

-- Верочка! Что ты?! -- закричал медведь, отшатнувшись в удивлении.

Но я его не слушала и, крича изо всей мочи, отбиваясь от него руками и ногами, продолжала колотить его по чему попало: по голове, по плечам, по лицу.

-- Господи!.. Вера! Верочка, да что с тобой? -- кричал медведь, стараясь поймать мои руки.

Тут я решила открыть зажмуренные от страха глаза и сквозь слёзы узнала... лицо своего дяди Ростислава.

Я так изумилась, что даже замолчала. Но только на одну минутку, потому что слёзы душили меня. И стыдно мне было, и досадно, и всё ещё страшно!.. Я так была уверена, что это пришёл съесть меня медведь, что никак не могла опомниться и понять, что никто меня есть не намерен, и что я лежу не в лапах косматого Мишки, а на руках у своего молодого, доброго дяди Ростислава, одетого в юнкерскую шинель нараспашку. Он, было, рассердился, когда я начала его бить, но потом испугался, не понимая, что со мною случилось?

-- Не узнала ты меня, что ли? -- спрашивал он, стараясь меня успокоить.

Я через силу, всхлипывая, объяснила:

-- Я... дума...ла вы... мед...ведь!

Дядя расхохотался.

-- Ах, тымышь этакая!.. -- воскликнул он. -- Храбрая какая!.. Так это ты хотела медведя побить? Да как это ты забралась сюда одна, скажи, пожалуйста?..

И дядя, всё смеясь и называя меня храброймышью и воинственной куропаткой, повёл меня домой.

Дома все были встревожены моим отсутствием. Наталья, только что вернувшаяся из рощи с Надей и Лёлей, была уверена, что я шла впереди: очень испугавшись, она собиралась идти искать меня, когда из липовой аллеи вышел дядя, держа меня, сконфуженную и заплаканную, за руку.

-- Вот, -- сказал он, -- рекомендую вам храбрую куропатку, которая воевала в лесу со страшным медведем. Медведь хотел её съесть, -- но она не испугалась и так его поколотила, что он убежал!.. Ах, тымышка,мышка! И не жаль тебе было бедного медведя? -- пошутил дядя, ущипнув меня за щеку, и ушёл, смеясь и не отвечая ни слова на расспросы, с которыми все к нему приставали.

Сестра и тётя Надя приступили ко мне.

-- Какой медведь? Как ты его побила? Где ты была?..

Но я также ничего не хотела объяснять им, потому, что мне было очень стыдно своей новой глупости.

Я надулась и, отбиваясь от них локтями, сердито ушла наверх. Я ужасно боялась, чтобы дяде Росте не вздумалось рассказать об этом происшествии за обедом; но, спасибо ему, он верно понимал мой страх и только раза два улыбнулся, называя меня храброймышью, но никому не рассказал ничего.

Рождение брата Леонида

Была середина лета. Роща наша потемнела; прошла пора не только фиалок, ландышей и сирени, но отцвели и липы, а вместо разноцветных диких роз на шиповнике вызревали красивые семена.

Раз после обеда мы сидели с тётей Надей и сестрой одни в гостиной. В доме была какая-то суета; все старались не шуметь, ходили на цыпочках, плотно притворяли двери; горничные чаще бегали по всем комнатам, прислуга перешёптывалась; тётя Катя и Антония смотрели озабоченно и рассеянно относились к нашим вопросам; одним словом, мне было ясно, что происходит что-то необыкновенное, о чём Надя с Лёлей знали, но не хотели рассказать мне. Я напрасно целый день искала бабочки или няни Насты: их совсем не было видно!

Дедушка уехал в город, и за обедом даже никого не было, кроме дяди, нас да урывками тёти Кати.

-- Верно мама больна? Мама или бабочка, потому что их нигде нет, -- решила я.

-- Никто не болен, -- отвечала тётя. -- Сидите только смирно. Самое лучшее, идите ко мне наверх, с мисс Джефферс и будьте с нею!

Идти сидеть со скучной англичанкой! Да ни за что! Мы выпросили позволение оставаться в гостиной. Надя и Лёля стали играть в карты, а я села на ковёр и строила карточные домики.

Но игра их плохо клеилась. Они обе то и дело выбегали на балкон, в палисадник и всё шептались между собой и пересмеивались. Мои домики тоже не держались на ковре; я перенесла своё хозяйство подальше, на пол и, наконец, успела-таки вывести высокий дворец в несколько этажей.

-- Смотрите, смотрите, какой я дом выстроила! -- кричала я в восторге.

Оставалось только поставить последние две карты: острую крышу. Я тихонько, с бьющимся сердцем выводила этот окончательный свод, забыв обо всём, думая только, что вот сейчас отойду и буду любоваться своим произведением, издали... Как вдруг с силой распахнулась дверь и фр...рр! -- тётя Катя, взмахнув платьем, вмиг разнесла мой дом по всей комнате.

-- Ах, тётя, гадкая! Противная тётя! -- в избытке отчаяния закричала я, чуть не плача.

-- Что, моя милая? Что я такое сделала? -- бросилась ко мне тётя.

-- Как что!? Весь дом повалила!..

-- Дом? Какой дом?.. Ах, да! Карточный!.. Ну, это ничего: я тебе после лучший выстрою. А ты перестань плакать... Послушай лучше, что я тебе скажу!

Тётя села, посадила меня к себе на колени, а Лёлю взяла за руку и сказала, весело улыбаясь:

-- Дети! У вас родился брат. Слышите? -- Маленький-маленький братец!

-- Брат?.. -- закричала Лёля и, вскочив, запрыгала на одной ноге вокруг комнаты, припевая. -- Брат, брат, брат!..

-- Тише, тише, -- остановила тётя её веселье, спуская меня на пол. -- Не шуми, Лёля!

-- А что такое? Разве он спит? -- спросила Лёля.

-- Разве Леночке нехорошо? -- испугалась тётя Надя за нашу маму.

-- Нет, ничего; только всё же не надо шуметь.

-- Какой же это брат? -- опомнилась, наконец, и я. -- Покажите мне его! Я хочу его посмотреть!..

-- Подожди: увидишь. Теперь нельзя, а после тебе покажут, -- и тётя поспешно вышла в другую комнату писать какое-то письмо.

-- Ну, что же это такое, право? -- закапризничала я. -- После! Когда после? Я теперь хочу!.. Сейчас. Я пойду туда, к маме... Лёля, а, Лёля! Пойдём к маме!..

-- Отстань! Пошла прочь! -- отогнала меня сестра, шептавшаяся о чём-то с Надей.

Они забились в угол и о чём-то горячо рассуждали и спорили.

-- Пожалуй, только мы оттуда ничего не увидим, -- говорила Надя.

-- Ну вот ещё! Я же знаю: отлично всё увидим! Пойдём, попробуем! -- убеждала Лёля.

-- Хорошо, пойдём.

И, взявшись за руки, они выскользнули в балконную дверь и крепко её за собой притворили.

-- Куда вы? -- закричала я, оставшись одна. -- Пустите меня! И я хочу с вами... Пустите! Мне одной скучно!.. Отворите!.. -- отчаянно заревела я, дёргая ручку дверей вверх и вниз.

-- Ах, ты противная девчонка! -- вскричала Лёля, быстро приотворив дверь. -- Не кричи! Пошла вон, слышишь?..

-- Не пойду! Я тоже с вами хочу!.. Куда вы идёте?

-- Пусти её, Лёля: пускай идёт с нами, -- сказала Надя. -- Я её подержу... Иди, Вера.

-- Да как же она пойдёт с нами? Она ведь свалится.

-- Не свалится. А если бы и упала -- не беда! Здесь невысоко.

И тётя Надя продёрнула меня в дверь.

Был уже вечер; тихая тёплая облачная ночь, полная запахом цветов, резеды и душистого горошку, которые цвели в палисаднике. Свет от окон ложился яркими полосами на гряды и кусты; только крайнее, угловое окно маминой спальни светилось тускло. Сердце во мне замирало: мне было и весело, и страшно чего-то: я угадывала, что мы сейчас что-то такое особенное сделаем, -- но что именно? Я сгорала любопытством и ожиданием.

-- Кто пойдёт первый? -- шёпотом спросила Елена.

-- Всё равно. Хочешь, я?..

-- Нет! Лучше меня пусти вперёд! -- бойко вызвалась сестра.

-- Хорошо, иди!

-- Да куда это? -- спросила я, вся замирая.

-- Молчи! -- прикрикнула Лёля.

Она подошла к крыльцу, шедшему вдоль стены, и, не спускаясь на ступеньки, держась за карниз и подоконники, к стене лицом, осторожно пошла вдоль по узенькому выступу, шедшему вокруг нижнего этажа дома.

Подобравшись под окошко спальни, она остановилась, вглядываясь в стёкла.

-- Что? Видишь что-нибудь? -- шепнула ей издали Надя.

-- Вижу! Всё вижу. Иди скорей!

-- Ты лучше оставайся, -- сказала мне Надя, -- постой здесь, а то ещё упадёшь.

-- Нет, нет. Не упаду. Я тоже хочу посмотреть!..

Надя отправилась вслед за сестрой по карнизу, а я за ней шаг за шагом, с бьющимся от волнения сердцем. До земли было не более двух аршин, но я уверена, что будь подо мною бездонная пропасть, я бы точно так же отправилась за ними.

Ветки кустарника били меня по ногам, задевали по лицу, цеплялись за платье и волосы. Я не обращала ни на что внимания, глядя на Лёлю, которая припала к стеклу лицом и, казалось, о нас и забыла... Это мамино окно мне представлялось чем-то волшебным: дойти бы только, -- взглянуть, -- а там будь, что будет!..

И вот мы добираемся до заветных стёкол, -- добрались! Я припадаю к ним, жадно смотрю... но ничего не различаю в большой, сумрачной комнате.

Надя с Лёлей перешёптываются:

-- Вон видишь там, на диване, белое!? Видишь?..

-- Да это просто две подушки кто-то положил.

-- Как же, просто!.. А между подушками-то он и лежит, ребёнок!.. Я сейчас его видела: бабочка его открывала.

-- Где? Где?.. Покажите мне его! -- умоляла я.

Вдруг в комнате произошло движение: всё ярче там осветилось, кроме кровати, на которой, я знала, лежала мама. Я ясно увидела на диване что-то белое и впилась в это глазами, надеясь увидеть своего маленького брата.

-- Ай! -- вдруг вскрикнула Лёля. -- Маменька нам грозит!

В самом деле я увидела над подушками руку в белом рукаве, медленно грозившую нам пальцем. В ту же минуту тётя Катя быстро подошла к окну, вглядываясь в наши лица. Чёрные брови её были нахмурены, но она улыбалась... Погрозив нам, она пошла к дверям.

-- Убежим! -- закричала Лёля и прыгнула в кусты; за нею и Надя, и уж не знаю, которая из них меня толкнула, только я сорвалась с карниза и покатилась в траву...

Испуганная падением, я перепугалась ещё больше, услышав на балконе тётин сердитый голос:

-- Идите сюда, шалуньи! Вот мама велела надрать вам уши и сейчас отправить к мисс Джефферс.

Раздался визг: я поняла, что Лёля попалась тёте Кате, и хотя очень хорошо знала, что в этом ровно ничего нет страшного, но вскочила, будто бы за мною кто-нибудь гнался, шмыгнула в калитку палисадника, оттуда за ворота, прыгнула в неглубокую, сухую канавку и забилась под мостик.

Не пролежала я там и минуты, как услышала невдалеке стук колёс и обомлела, вспомнив, что каждый въезжавший в ворота должен был проехать по этому мостику.

Мне вмиг представилось, что мостик должен непременно провалиться, и экипаж с лошадьми задавить меня... Я хотела закричать, хотела выскочить и убежать, но, слава Богу! -- не успела сделать ни того, ни другого, как над моей головой уже раздался оглушительный топот, стук и гром, из щелей посыпался на меня сор и пыль, и дедушка благополучно проехал к крыльцу дачи. Успей только я исполнить своё намерение, -- лошади могли бы испугаться, и Бог весть какое несчастье случилось бы из-за моей глупости!

Бледная, грязная, кашляя от пыли, вылезла я из-под канавного мостика и тихонько побрела в дом.

Там, за общей суетой, никто меня не хватился; няня одна, раздевая меня после чаю, удивилась, где я могла так перепачкаться?.. Но я ей побоялась рассказать в чём дело, и так никто много лет не знал, каким происшествием ознаменовался для меня день рождения брата Леонида.

Последний месяц на даче не был так весел для меня как начало лета. Роща наша очень изменилась: поредела, опустела и наводила скуку шуршанием жёлтых листьев под ногами и завыванием ветра в деревьях. Ещё в солнечные дни она была красива, вся пёстрая, с яркими гроздьями калины и рябины, выглядывавшими из-за кое-где уцелевшей, тёмной зелени и с красивыми шишками шиповника, из которого я любила низать коралловые ожерелья. Но дожди стали перепадать всё чаще и чаще, а в серые, ненастные дни, куда как скучно смотрела наша дача!.. Раз я очень обрадовалась: у мамы, плохо поправлявшийся после болезни, затопили печку и нас позвали смотреть, как купают братца. Я была в большой дружбе с его кормилицей Ольгой, -- высокой, здоровой бабой, которая так смешно говорила: совсем по-деревенски. Раз или два она дала мне поддержать укутанного в одеяльце Лиду, чем я очень была довольна; но теперь, увидав его в первый раз прикрытого только одной мокрой пелёночкой, какой он лежал красный да крошечный, -- я даже испугалась! Мне всё казалось, что Ольга его нечаянно утопит; что он, бедненький, захлебнётся, и с тех пор я долго боялась брать его на руки.

Вскоре мы переехали в город. Я была рада вернуться в наш большой дом, увидеть снова бульвар наш, хотя и он показался мне очень некрасивым и пыльным. Когда мы уезжали, из-за зелени его возвышался только купол собора да колокольня; а теперь он весь был сквозной, так что даже не закрывал проходивших по аллеям людей.

Эта осень ознаменовалась тем, что меня начали гораздо больше и серьёзнее занимать уроками. Не только Антония, но и мисс Джефферс перешла от наглядного обучения к английскому букварю. До этого времени она со мной ещё не занималась грамотой, а только разговором и обучением слов, за которое она бралась очень оригинально. Усадив меня рядом с собою, она начинала с того, что перекашивала ещё больше свои и без того косые глаза, из которых один был карий, а другой -- зелёный, и, тыкая пальцем в разные предметы, нараспев восклицала:

-- О! -- Book... О! -- Flower... О! -- Chair... О! -- Table... [*Книга! Цветок! Стул! Стол! - англ.*] -- и так далее, пока не перебирала всего, что было в комнате, с трудом заставляя меня повторять вслед за нею.

Её длинная, безобразная фигура и мерные, заунывные восклицания до того меня смешили, что я с трудом могла воздерживаться от смеха...

Тем не менее "мисс", как называли её все в доме, добилась того, что менее чем в два года мы с сестрой совершенно свободно говорили с ней и между собою на её родном языке.

Новая зима

-- Со снегом поздравляю вас! -- разбудила нас утром няня. -- С первым снежком -- заячьим следком!.. Вставайте-ка скорее: поедem в санках кататься.

-- В санках, няня? -- радостно вскричала я. -- В самом деле?.. А как же вчера была такая грязь?..

-- Ну что же? Вчера была грязь, а ночью подул ветер, нагнал снежные тучи, мороз прохватил землю, и вот к утру всё оделось снегом, -- отозвалась нам бабочка, выходя из своего кабинета. Она всегда, и лето, и зиму, вставала в шесть часов. -- Посмотрите, как славно всё на дворе: светло и бело! -- и она отдёрнула занавес окна.

Лёля, до сих пор лежавшая клубочком под тёплым одеялом, вдруг вскочила и босиком подбежала к окну.

-- Лёля, Лёля! -- закричала на неё бабочка. -- Простудишься! Пошла в постель, надень чулки и башмаки, -- тогда бегай сколько хочешь.

Меня Наста уже одевала. Я тряслась, совсем не от холода, а только потому, что, заглядывая в окно, воображала, как там должно быть холодно. Всё за окном было ослепительно светло от яркой белизны первого снега, пушисто облежавшего крыши, деревья и всё, что было у меня перед глазами. Воздух был испещрён его крупными, мохнатыми хлопьями, мягко ложившимися на землю. Всё было тихо, словно и люди, и звери притаились. Неслышно было ни уличного шума, ни стука экипажей, ни лая, ни чирикания птиц; не видно никакого движения, кроме падавших белых хлопьев, которые безостановочно летели вниз, догоняя друг друга, цепляясь на пути, мелькая частой сеткой в ослепительной желтоватой мгле...

У меня зарябило в глазах. Я отвернулась, закрыв лицо руками, и спросила:

-- Бабочка! Отчего так тихо? Где все люди и птицы?..

-- Люди сидят по домам, а птицы тоже попрятались. Посмотри, вон под навесом крыши, по карнизу, сколько сидит, нахохлившись, голубей. Они жмутся к стенке, -- от снега прячутся; а как только он перестанет идти, они все и слетят за кормом. И воробьи тогда вылетят, зачирикают, запрыгают по двору да, пожалуй, ещё и передерутся от радости, что зима пришла...

-- А вон там ворона! -- перебила я бабушку, показывая на чёрную птицу, тяжело перелетавшую с соборного купола на колокольню. -- Ишь, как каркает!.. Она, верно, снегу не боится?

-- Вороны -- зимние птицы; они холоду не боятся. Погляди, сколько их на колокольне! Кресты соборные словно чёрным бисером ими все унизаны.

-- Гадкая птица ворона! Я её не люблю, -- сказала Лёля.

-- Чем же она гадкая?

-- Некрасивая, неуклюжая, чёрная, толстая!.. А как захочет запеть, так так противно каркнет!

-- Чем же она виновата, что её Бог такую сотворил? -- сказала бабушка. -
- Значит, ты всех некрасивых не любишь?.. Ну, вот и я тоже толстая, неуклюжая и петь не умею, так ты и меня за это не будешь любить?

-- Ну, вот ещё, бабочка! Что это вы говорите, -- сконфуженно пробормотала Лёля, вся покраснев, но тут же расхохоталась. -- Разве вы птица?.. Зачем человеку петь?.. Вы отлично играете на фортепиано, рисуете, сколько знаете разных работ!.. Вышиваете шелками, вяжете кружева, клеите из картона и раковин разные вещи! Делаете такие прелестные цветы!.. Господи! А знаете-то вы сколько!.. Всему вы можете учить: и истории, и географии! На скольких языках вы говорите! Собираете древности, монеты... Боже мой, Боже! Чего только вы не знаете!..

-- Та-та-та! -- Затараторила!.. -- прервала её бабушка. -- Ты, кажется, в самом деле думаешь, что я как ворона в басне сейчас и уши развешу на твоё лисинькино пенье?.. Ах, ты Лиса Патрикеевна!.. Ты лучше не перебирай, что я знаю и чего не знаю, а старайся лучше говорить мне уроки, чтобы самой больше знать.

И бабушка обняла Лёлю, целую её курчавую голову, а я сама к ней бросилась, уверяя, что другой такой доброй да умной и во всём свете не сыщешь! Я в том была убеждена и тогда, и теперь осталась на всю жизнь уверенной. Бабушка моя, Елена Павловна Фадеева, была такая замечательная женщина, каких на свете мало.

Она очень любила серьёзные занятия, и такая была учёная, что все изумлялись её глубоким знаниям. Но ещё больше наук и всего на свете она любила свою семью, в особенности нас, своих внуков.

Она и учила нас, и умела нас забавлять, как никто другой не мог. Я ничего так не любила как её чудесные рассказы и могла их слушать по целым часам.

В пять-шесть лет у детей немного уроков; я обыкновенно кончала свои до завтрака, а потом гуляла, играла и могла делать всё, что хочу. А хотела я, всего чаще, тихонечко пробираться наверх, в комнаты бабушки. Если я не находила её в спальней за каким-нибудь рукоделием, то уж я знала, что она в кабинете, -- рисует цветы или занимается чем-нибудь **"серьёзным"**...

Кроме всяких вышиваний, вязаний, плетений, бабушка умела делать множество интересных работ. Она делала цветы из атласа, бархата и разных материй; она клеила из картона, раковин, цветной и золотой бумаги, из битых зеркальных стёкол, из бус и пёстрых семечек такие чудные вещи, что чудо! Она переплетала книги. Сама, бывало, напишет что-нибудь, сама разрисует, сама и в книгу переплётёт... Но всего лучше она рисовала особенно цветы. Мы, дети, были уверены, что не было на свете такой работы, которой бы бабушка не знала!

Но все эти занятия считались ею пустяками, только отдыхом от серьёзного дела... **"Серьёзно"** занималась бабушка у себя в кабинете. Там она читала и писала на нескольких известных ей языках; разбирала свои собрания редкостей: камней, раковин, растений; разных насекомых, зверей и птиц; разных древних вещей, -- окаменелостей, монет (старинных денег), рукописей. Всё это она сама распределяла, надписывала и красиво устраивала в шкафах и ящиках под стеклом, на полках и по стенам своего кабинета.

Не диво, что я любила в этот кабинет забираться! Чего-чего в нём не было?!

сама разрисуетъ, сама и въ книгу переплететъ... Но всего лучше она рисовала, особенно цвѣты. Мы, дѣти, были увѣрены, что не было на свѣтѣ такой работы, которой бы бабушка не знала!

Но всѣ эти занятія считались ею пустяками, только отдыхомъ отъ серьезнаго дѣла... «Серьезно» занималась бабушка у себя въ кабинетѣ. Тамъ она читала и писала на нѣсколькихъ извѣстныхъ ей языкахъ; разбирала свои собранія рѣдкостей: камней, раковинъ, растеній; разныхъ насѣкомыхъ звѣрей и птицъ; разныхъ древнихъ вещей,—окаменѣлостей, монетъ (старинныхъ денегъ), рукописей. Все это она сама распредѣляла, надписывала и красиво устраивала въ шкафахъ и ящикахъ подъ стекломъ, на полкахъ и по стѣнамъ своего кабинета.

Не диво, что я любила въ этотъ кабинетъ забираться! Чего-чего въ немъ не было?!



скому Императорскому Университету 20 томовъ книгъ, по различнымъ отраслямъ естественныхъ наукъ (зоологін, ботаники, а также археологін и нумизматики) съ рисунками Е. П. Фадѣевой. Онѣ находятся теперь въ Университетской библіотекѣ, въ отдѣльной витринѣ. ✓

Рассказы моей бабушки

Приотворяла я тихонечко в него дверь и заглядывала... Если бабушка подымала голову из-за своего рабочего стола и, выглянув из-за массы живых цветов, всегда её окружавших, ласково мне улыбалась, -- я входила смелей и поближе к ней подсаживалась. Если же не замечала моего прихода или, ещё того хуже, -- увидав, оставалась серьёзна, нахмурив озабоченно брови, -- тогда я быстро садилась, где попало, поодаль и там ждала, притаившись, пока она меня подзывала.

Иногда мне подолгу приходилось этого ждать, но я не унывала и не скучала. В бабушкином кабинете было на что поглядеть и о чём призадуматься!.. Стены, пол, потолок, всё было покрыто диковинками. Днём эти диковинки меня очень занимали, но в сумерки я бы ни за что не вошла одна в бабушкин кабинет!

Там было множество страшилищ.

Один фламинго уж чего стоил!..

Фламинго -- это белая птица на длинных ногах, с человека ростом. Она стояла в угловом стеклянном шкафу.

Вытянув аршинную шею, законченную огромным крючковатым, чёрным клювом, размахнув широко белые крылья, снизу ярко-красные, будто вымазанные кровью, -- она была такая страшная!.. На беду, моя старшая сестра-шалунья рассказала мне целую сказку об этом набитом чучеле.

Будто фламинго ночью оживает, крыльями хлопает, разевает клюв и челюстями постукивает; а потом идёт разыскивать себе пищу...

-- А ест он, знаешь, что? -- сочиняла моя сестрица. -- **Маленьких детей!**.. Да! Он им носом голову пробивает, кровь их пьёт и, наевшись, вытирает клюв крыльями... Оттого-то они у него и такие красные -- кровавые!..

Разумеется, бабушка, узнав о выдумке сестры, её побранила, а меня разуверила. Я и сама понимала, что чучело не могло ходить, но всё же побаивалась... И **не одного** фламинго! Было у него много ещё страшных товарищей -- сов желтоглазых, хохлатых орлов и филинов, смотревших на меня со стен; оскаленных зубов тигров, медведей и разных звериных морд, разостланных по полу шкур.

Но был у меня, между этими набитыми чучелами один самый дорогой приятель: белый, гладкий, атласистый тюлень из Каспийского моря.

В сумерки, когда бабушка кончала дённые занятия, она любила полчаса посидеть, отдыхая в своём глубоком кресле, у рабочего стола, заваленного бумагами, уставленного множеством растений и букетов.

Тогда я знала, что наступило моё время.

Весело притаскивала я своего атласистого друга за распластанный хвост, к ногам бабушки; располагалась на нём как на диване, опираясь о его глупую, круглую голову и требовала рассказов.

Бабушка, смеясь, ласково гладила меня по волосам и спрашивала:

-- О чём же мне сегодня тебе рассказать сказку?

-- О чём хотите! -- отвечала я обыкновенно.

Но тут же прибавляла, указывая на какую-нибудь мне неизвестную вещь:

-- А вот об этом расскажите, что это за штука такая?

И бабушка рассказывала.

Рассказы её совсем были не сказки, хотя она их так шутя называла; но никакие волшебные сказки не могли бы меня больше занять. Некоторые из них я до сих пор прекрасно помню.

Прислонённое к стене кабинета стояло изогнутое бревно, -- как я прежде думала: круглый, толстый ствол окаменелого дерева. Вот я раз и спросила: что это такое?.. Бабушка объяснила мне, что вовсе это не дерево, а громадный клык животного, жившего на свете несколько тысяч лет тому назад... Этот зверь назывался **мамонтом**.

Он был похож на слона, только гораздо больше нынешних слонов.

-- А вот и зуб его! -- раз указала мне бабушка. -- Ты этого зубка не подымешь.

Куда поднять! Это был камень в четверть аршина шириною и вершков семь длиной. Я ни за что не верила! Думала -- бабушка шутит!.. Но рассмотрев камень, увидела, что он точно имеет форму зуба.

-- Вот был великан! -- вскричала я. -- Как я думаю, все боялись такого страшилища! Он, верно, ел людей и много делал зла?.. Ведь такими клыками можно взрывать целые дома?

-- Разумеется, можно. Но мамонты не трогали ни людей, ни зверей, если их не сердили. Они, как и меньшие братцы их -- слоны, питались только травами, фруктами, всем, что растёт. Мамонты не ели ничего живого, никакого мяса, -- зачем же им было убивать? Но были в те далёкие времена, -- гораздо прежде потопа, -- другие страшные кровожадные звери, которых теперь уж нет. Они гораздо больше нынешних диких зверей. Больше тигров, львов, крокодилов; даже больше жирафов, гиппопотамов и китов! Их было такое множество, что бедные люди, не имевшие тогда никакого оружия, уходили от них жить, с земли, на реки и озёра. Они себе строили на воде плоты из брёвен, а на плотках сколачивали хижинки или шалаши вместо домов и на ночь снимали сходни, соединявшие их с берегом. Но и то плохо помогало! Ведь и в водах жили громадные чудовища, вроде ящериц, змей или крылатых крокодилов.

Заслушивалась я бабушкиных рассказов, открыв рот и уши развесив, до того, что мне, порой, представлялось, что набитые звери в её кабинете начинают шевелиться и поводить на меня стеклянными глазами...

Я вздрагивала и со страхом заглядывала: здесь ли бабушка?

Раз она поймала мой тревожный взгляд и спросила:

-- Что с тобой?.. Чего ты испугалась?

-- Ничего! -- отвечала я, вспыхнув. -- Я так себе думаю.

-- Ты, кажется, трусишка, боишься, что тебя набитый медведь укусит, -- смеялась надо мной бабушка.

Заметив, что такие рассказы меня пугают, бабочка чаще стала мне рассказывать о нынешних зверях, а больше о птицах, бабочках и жуках, которых у неё было множество и в рисунках, и настоящих, только не живых, а за стеклом. Она удивительно искусно и красиво умела устраивать их на веточках, на цветах; будто птицы на воле сидят, летают и плавают; а бабочки и мотыльки порхают по цветочкам.

Вода у неё была сделана из осколков стёкол, разбитых зеркал и разрисованной бумаги. Выходили целые картины.

На одной стене всё сидели хищные птицы: орлы, ястребы, соколы, совы; а над ними, под самым потолком распростёр крылья огромный орёл-ягнятник. Бабушка мне сказала, что так его зовут потому, что он часто уносит в свои гнёзда маленьких барашков. Что в Швейцарии, где много таких орлов в горах, даже люди его боятся, потому что он крадёт с поля маленьких детей; сталкивает с обрывов в пропасти пастушков и там заклёвывает их, унося куски их тела в скалы, в своё гнездо, орлятам на обед...

Этот орёл был тоже мой враг!.. Он, пожалуй, ещё страшнее, чем краснокрылый фламинго, смотрел на меня сверху, своими жёлтыми глазами... Я тогда была ещё такая глупенькая, что мне часто думалось: а ну, как он слетит?! Как вцепится лапищами, с громадными когтями, в волосы или в тело?.. Недаром бабушка меня часто трусишкой называла; а сестра подсмеивалась, рассказывая мне разные страшные сказки.

Но что за прелестные были в бабушкином кабинете крошечные птички-колибри!.. Одна была величиной с большую пчелу и такая же золотистая. Эта крохотная птица-муха, как её бабушка называла, больше всех мне нравилась. Она сидела, со многими своими блестящими подругами, под стеклянным колпаком, на кусте роз, которые сделаны были тоже самой бабушкой. Другие колибри были чудно красивы! Их грудки блистали как драгоценные камни, как изумруды и яхонты, зелёные, малиновые, золотистые! Но моя колибри-малютка была всех милей своей крохотностью.

Есть далеко, за морями, жаркие страны, где эти маленькие, разноцветные красавицы летают во множестве как у нас воробьи... Я думаю, что их там можно принять за летучие цветы!

В такой жаркой стране, -- она называется Индия, -- много интересных вещей. Люди там темнокожие, кофейного или медного цвета и от жаров ходят почти голые, -- точно наши допотопные предки. Только у них на руках и на ногах всегда много браслетов с бубенчиками и побрякушками - от змей... Змей в Индии много, и есть очень ядовитые. Они боятся звону, а потому жители и носят на ногах погремушки, чтоб они уползали, услышав их, и не кусали их голых ног. Слоны служат там людям как лошади; обезьяны бегают на воле как наши собаки, а попугаи -- белые, красные, зелёные летают как у нас чёрные вороны да галки.

Но самое чудное там украшение -- это растения. Великолепные цветы и громадные деревья -- пальмы, которые раскидываются саженными листьями как гигантские веера, а некоторые покрыты яркими цветами -- величиной в тарелку. Представьте себе огромные деревья, покрытые красными, розовыми, белыми и лиловыми подсолнечниками!..

Обо всём этом я впервые узнала, когда была маленькой, из рассказов моей милой, родной бабочки и видела на рисунках в её больших, чудесных книгах.

И перечестъ нельзя множества интересныхъ вещей, которые я узнала в этом кабинетѣ!.. О какихъ бы зверяхъ, насекомыхъ, камняхъ или растенияхъ я не спрашивала её -- бабушка всё знала и обо всёмъ рассказывала самыя интересные исторіи.

онѣ уползали, слышавъ ихъ, и не кусали ихъ голыхъ ногъ. Слоны служатъ тамъ людямъ, какъ лошади; обезьяны бѣгаютъ на волѣ, какъ наши собаки, а попугаи — бѣлые, красные, зеленые летаютъ, какъ у насъ черныя вороны да галки.

Но самое чудное тамъ украшеніе это растенія. Великолѣпныя цвѣты и громадныя деревья — пальмы, которыя раскидываются сажеными листьями, какъ гигантскіе вѣера, а нѣкоторыя покрыты яркими цвѣтами — величиной въ тарелку. Представьте себѣ огромныя деревья, покрытыя красными, розовыми, бѣлыми и лиловыми подсолнечниками!..

Обо всемъ этомъ я впервые узнала, когда была маленькой, изъ рассказовъ моей милой, родной бабушки и видѣла на рисункахъ въ ея большихъ, чудесныхъ книгахъ.

И перечестъ нельзя множества интересныхъ вещей, которыя я узнала въ этомъ кабинетѣ!.. О какихъ бы звѣряхъ, насекомыхъ, камняхъ или растеніяхъ я не спрашивала её — бабушка все знала и обо всемъ рассказывала самыя интересные исторіи.



История Беянки

Рядом с моим белым другом, тюленем, лежал набитый морж: он тоже был гладкий как атлас, но только чёрный. Того я не любила: у него была злая морда и два крепких белых клыка, изогнутых книзу...

Бабушка, шутя со мной, называла тюленя и моржа -- сестрицей и братцем, Беянкой и Чернышом.

-- У меня ещё был и Серко! -- шутила она. -- Серый тюлень из Балтийского моря; да того, бедного, мошь так поела, что осталась одна кожа. Пришлось его выбросить!.. А жаль! Красивый был, с чёрными разводами и пятнами, по гладенькой серой спинке. Тот уж был родной братец Беянке, хотя при жизни с ней не был знаком: он плавал в северных морях, ко мне из Петербурга приехал, а она -- астраханочка! В южном Каспийском море родилась и проживала. А господин Черныш им братец двоюродный, -- похож, да не совсем! Хоть одного рода они, -- посмотри!

И бабочка показывала мне и объясняла отличительные приметы моржей и тюленей: толстое, длинное тело, аршин до двух и более длиною; к хвосту оно суживается, а хвост -- веером как руль, чтоб удобнее было плавать; лапы с перепонками, лапчатые как у гусей; передние -- коротенькие, а задние очень длинные, но не отдельные, а вытянутые вдоль по телу и соединены с ним и с хвостом, тонкой, очень растяжною кожей. Морды у них -- собачьи, с очень умными, добрыми чёрными глазами; на носу клапаны, чтоб вода в ноздри не вливалась, когда они ныряют, и пресмешные, длинные усы щетиной как у котов.

Моржи и тюлени могут жить и в воде, и на земле; они не умирают на воздухе, без воды, как рыбы, но только им очень трудно по земле двигаться: ноги их неудобно устроены для ходьбы, потому они еле переваливаются ползком. Но напрасно у людей вошло в поговорку: неуклюж как тюлень! Никто не может быть проворней и ловчее тюленя в море, так быстро и ловко они плавают, так ныряют и кувыркаются, особенно на заре при солнечном восходе... На землю они редко выползают: только самки, чтоб покормить детей. Они ведь кормят своих детёнышей молоком как все земляные животные. Дети в море не идут, пока не подрастут и не окрепнут. Их матери кладут к себе на спину и учат плавать.

-- В Каспийском море мне часто приходилось видеть, как тюлени плавают, а над их блестящей как белый шар головой торчит другая головёнка, и оба пресмешно поводят чёрными глазёнками и длинными усами шевелят! -- рассказывала бабушка. -- Моржи сильнее и храбрее тюленей, потому что больше и хорошо вооружены. Видишь, какие у них крепкие и острые клыки!.. Они часто и на крупную рыбу нападают; а бедным Беянкам защищаться нечем не только что на других нападать. Едят они мелкую рыбёшку, слизняков, а всего больше водоросли, морскую траву. Моржи живут в самых холодных, северных морях, -- на полюсах, где плавают целые горы вечных льдов. Они там вместе с белыми медведями проживают. К человеку морж никогда не привыкнет, а тюлени очень легко становятся ручными... Да вот эту самую, набитую мою Беянку, я часто из своих рук кормила.

Я так и напала на бабушку:

-- И не жаль вам было потом убить её, бедняжечку? Ах бабочка, какая злая!

-- Не я убила её, а один калмык, охотник-рыболов, -- оправдывалась бабушка. -- Ты знаешь калмыков? Видала их на картинках у меня?.. Это такой народ живёт на юге России, больше всего, в устьях Волги, в Астраханской и Саратовской губерниях. Они все такие коренастые, небольшие, но широкоплечие; тело у них желтовато-красное как медь. А живут калмыки не в городах и не в домах, а кочуют в **кибитках**, -- то есть в таких войлочных палатках, которые легко складывать и перевозить с одного места на другое... Когда мы жили в Астрахани, -- рассказывала бабушка, -- твоей маме велели доктора пить кумыс, питьё, которое калмыки делают из кобыльего молока. Для этого мы переехали одним летом на дачу, неподалёку от их улуса, -- улусами называются кочевья калмыцкие, где они в своих кибитках располагаются. Море от нас было близёхонько, и каждый день мы ходили купаться и гуляли по берегу, -- рыбок кормили, бросали в воду крошки хлеба, рубленое мясо и всякие остатки. Немножко подальше нашей купальни был пустынный заливчик, между камнями. Рыбы в нём множество водилось; к нему повадилась приплывать и Бесянка и так скоро привыкла ко мне, что совсем перестала людей бояться... Я думаю, что в этом заливчике она верно своих деток выводила...

-- А вы их видали? -- прервала я.

-- Нет, не привелось! Может быть и увидела бы после, если бы её бедную вскоре не убили... Наши калмыки узнали, что я охотно покупаю разные звериные шкуры. Тюленей бьют ради их жира. Они легко жиреют, а сало их продают на смазку. И горит их жир отлично. Калмыки им освещают свои кибитки. Но этого убили не на топку; а принесли прямо ко мне. Он верно подплыл поближе, увидав человека, думая, что кормить его пришли, а калмык в него и выстрелил, не зная, что он ручной...

-- А вы как же узнали, что это Бесянка? -- допытывалась я.

-- Да потому, что она больше не приплывала ко мне, -- отвечала бабушка. -- Прежде, бывало, только подхожу к заливчику -- Бесяночка тут как тут! А теперь, сколько я ни бросала в воду корму, сколько ни ходила по берегу -- не стало моей Бесянки! Мне было очень жаль её, право!

-- А я бы этого гадкого калмыка побила! -- вскричала я.

Но бабушка засмеялась и объяснила мне, что не за что было бить калмыка, -- что он не был ни в чём виноват.

* * *

Узнав историю Беянки, я ещё больше полюбила её чучело.

Бывало, сидя на ней, в ожидании, когда бабушка перестанет заниматься и подзовёт меня, гладила я её атласную шёрстку, её круглую головку, засматривала в её чёрные, теперь уж не живые, а стеклянные глазки, и думала:

"Бедная ты, Беяночка, бедная!.. Плавала ты на воле по синему, глубокому, широкому морю! Выставляла из прозрачных, пенистых волн эту самую, кругленькую, глупую головку. Порой и сама, неуклюжая, выползала на пустынный бережок покормить малых деточек, погреть своё блестящее, жирное тело на солнышке; а чуть что -- бултыхалась назад, в глубь морскую, ловить зазевавшихся рыбок себе на обед...

Никогда ты зла не чаяла! Никогда даже не видывала человека, как подметила тебя добрая барыня; стала тебя прикармливать, и полюбила ты её на свою погибель!.. Думала ты, что все люди такие же как она, добрые, а вышло не так: пришёл злой калмык, -- выстрелил и убил тебя наповал!.. Ты, бедняжка, хлеба ждала, а тут охотник откуда-то взялся и пулей тебя угостил!

И вот взяли тебя люди, сняли с тебя кожу, с беленькой шёрсткой; из мяса твоего жир вытопили и в лампах сожгли, или колёса им смазали; а шкуру твою трухой да паклей набили, сделали из тебя чучело и положили людям под ноги, в комнате, на полу...

Думал ли ты, горемычный тюлень, живя в морском приволье, -- что когда-нибудь будет на тебя садиться маленькая девочка как на подушку или в кресло какое-нибудь?.. Будет сидеть, думы свои думать да рассказы слушать!

И рассказы-то о чём?.. О тебе самом! О том, как тебя же пристрелили и чучело из тебя набили, -- а ты будешь смирно лежать!.. Не рассердишься, не окунёшь её за это в глубокое море -- рыбам да своим деткам на съедение!.. Бедный ты, бедный тюлень, -- морской белый увалень!"

Мои первые театр и бал

Началась зима со своими короткими днями и морозными ночами, с бесконечными вечерами у печек, оживлявших весёлым жаром и треском берёзовых дров наши детские игры и беседы; с катанием в санях по замёрзшей Волге и бесконечным смехом между уроками по утрам, когда нас отпускали поиграть в снежки и покататься в салазках по двору. Старшие уже не участвовали в этих шумных играх; но мне бабочка отстояла это право, и я не знала большего веселья, особенно по праздникам, когда приходили ко мне девочки из приюта и другие подруги.

Зато Лёля часто ездила с большими в театр, чему я очень завидовала. Слушая рассказы Нади и Лёли, их бесконечные беседы и смех над виденным и слышанным в театре, мне казалось, что там должно быть чудо как весело! Бабочка и мама уверяли меня, что я там ничего не пойму и соскучусь; но я не верила и упростила один раз, чтобы меня взяли.

Я очень горько разочаровалась в своих ожиданиях!

Во-первых, мне показалась очень тесной и неловкой крошечная комнатка без передней стены, где нам пришлось сидеть в ожидании, когда подымут занавес, расписанный цветами, за которым должны были открыться все чудеса, забавлявшие столько сестру. Во-вторых, я ровно никаких чудес не увидела...

-- Когда же начнётся? Когда подымут занавес? -- приставала я ко всем.

-- Сейчас. Не надоедай! -- отвечали мне. -- Слушай музыку.

Но мне было совсем невесело слушать музыку. Я принялась смотреть вниз, где сидело очень много мужчин, и раскланивалась со знакомыми, усердно кивая им головой; но никто не обращал внимания и не отвечал на мои поклоны, что меня очень обижало...

Наконец, занавес поднялся, и я жадно обратилась к сцене.

Там был лес, но не настоящий, а очень гадко сделанный. Впереди, на деревяшке, сидел какой-то господин в чёрной коленкоровой тальме и широкой чёрной шляпе с огромными полями и о чём-то **самому себе** рассказывал... Я слушала внимательно, -- но ничего не понимала. Мне очень хотелось спросить маму, что это за сумасшедший, -- сам с собой разговаривает?.. Но я не посмела.

Вдруг к нему подошёл какой-то другой господин в красном бурнuse и, хлопнув его по плечу, спросил:

-- Старик! Скажи мне: что такое **жисть**?

-- А это что же такое -- **жисть**? -- шёпотом спросила я, глядя на всех в недоумении.

Мама с тётей Катей переглянулись, улыбаясь.

-- Жизнь, -- отвечала мама. -- Ну, вот ты живёшь, я живу! А когда умрём -- жизнь наша кончится.

-- Я это знаю!.. А зачем же он говорит: **жисть**? Это другое совсем слово...

-- Нет, не другое! -- засмеялись опять тётя с мамой. -- Что же с ним делать, что он так дурно говорит!

-- Ах! Верка, не мешай! Дай слушать, -- сказала Надя.

-- Вот, я так и знала, что она только будет мешать! -- капризным голосом прибавила Лёля.

Я замолчала и стала опять слушать, стараясь понять в чём дело? Но уж далеко не с таким интересом.

На сцену пришло ещё много народу, все громко кричали, спорили... Но я всё-таки разобрать ничего не могла и с горя опять начала рассматривать знакомых в ложах и партере. Мне очень было скучно, я поминутно зевала и, наконец, сказала:

-- Я устала!

-- Садись ко мне на колени, -- предложила мама.

-- Нет, нет, Леночка! Ты устанешь, -- сказала тётя Катя, -- дай я её возьму.

-- Не надо... Я лучше там сяду! -- указала я в угол ложи, возле двери.

-- Да там ведь ничего не видно!

-- Ничего! Мне надоело смотреть... Глазам больно от этого света.

Меня пустили. Я уселась на пол и начала рассматривать раёк.

-- Лёля, а, Лёля! -- вдруг вскричала я в удивлении. -- Посмотри! -- Там наверху, под потолком наш Яков сидит!

Это мне казалось крайне удивительно и забавно, что я увидела там нашего дворецкого. Но Лёля и даже сама мама обернулись ко мне, сердито говоря, что нельзя говорить так громко в театре.

Кончилось тем, что я заснула, и меня отправили домой, завернув в мамину шубу, с этим самым дворецким Яковом, которому я помешала таким образом видеть второе действие этой трагедии или драмы.

Больше уж я никогда не просилась в театр и очень долгое время была убеждена, что там никогда ничего другого не бывает, а всё только господин в красном плаще спрашивает другого, в чёрной тальме: "Старик! Скажи мне, что такое жисть?.."

На тёти Катины именины у нас было очень много гостей, играла музыка, и танцевали. В первый раз в жизни видела я **бал** и ужасно радовалась, что мне позволили сидеть до двенадцати часов. Мне только ужасно не нравилось, когда мужчины схватывали меня и высоко кружили, уверяя, что со мною танцуют.

-- Пустите, -- сердито вывёртывалась я, -- не хочу!

-- Отчего не хочешь, Верочка? Пойдём танцевать.

-- Что это за танцы? Разве так танцуют?

-- Чем же это не танцы? -- смеясь отвечали мне. -- Как же иначе танцевать?

-- Танцуют ногами! -- сердито отвечала я. -- А я до полу не достаю, когда вы меня на воздухе кружите.

-- Какая сердитая, -- смеялись вокруг меня.

А наш доктор Троицкий, -- не тот француз, которого мы не любили, а другой, русский и очень добрый, начал уговаривать меня протанцевать с ним галоп по-настоящему, но я не захотела.

Зато Лёля весь вечер без устали танцевала и очень рассердилась, когда я этому выразила удивление.

-- Вот дура! -- вскричала она. -- Точно я маленькая!.. Мне одиннадцатый год, и я такая большая ростом!

-- Где же одиннадцатый?.. Тебе ещё и десяти нет!

-- Не всё равно? Через три месяца мне пойдёт одиннадцатый!.. Ты бы послушала, как я разговариваю с большими, как мне весело со своими кавалерами. Вон, князь Сергей говорит, что со мной гораздо веселей танцевать, чем со взрослыми барышнями...

-- Ох, уж ты, хвастунья, -- перебила я.

-- Глупая! -- выбранилась она опять. -- Да ты бы послушала, что все мне говорят: что я такая умная и забавная! Вот, вот уж за мной и идут!

И сестра, кокетливо тряхнув головой, взглянула на меня с многозначительной важностью и отправилась танцевать кадрили с каким-то офицером.

Я заметила, что Надя, напротив, всё уходила и не хотела танцевать, хотя с ней действительно все обращались как со взрослой барышней. Ей уж было тринадцать лет, но она не любила и тогда, как и во всю свою жизнь, впоследствии, большого общества, балов и танцев.

Всѣ, кромѣ бабушки, уже туда входили. Въ дверяхъ вниманіе мое опять было остановлено какою-то старушкой, въ темномъ платьѣ, съ головой по самый лобъ повязанной чернымъ шелковымъ платкомъ, какъ у няни Насты. Она спокойно, но



не привѣтливо, нисколько не суетясь и безъ всякихъ улыбокъ, какъ хозяйинъ и его жена, смотрѣла на насъ изсподлобья и каждаго встрѣчала низкимъ поклономъ.

— Матушка моя, ваше превосходительство! сказалъ, указавъ на нее

бабушкѣ хозяйинъ дома.—Не изволите, кажется, знать?..

— Нѣтъ, я хорошо знаю вашу матушку, привѣтливо отвѣчала бабушка, остановившись возлѣ также молча ей кланявшейся старухи:—мы часто встрѣчались съ нею въ больницѣ и богадѣльнѣ... Еще недавно я видѣла васъ; когда вы, на первый

Ровно черезъ месяцъ после этого я, также впервые, увидела рождественскую ёлку. Это была прекрасная богатая ёлка, кроме всякихъ сладостей, изукрашенная гирляндами зелени и цветовъ, искусно сделанныхъ бабушкой изъ цветной бумаги и коленкору. Я онемела отъ изумления и восторга, когда, просидевъ целый день одна, наверху въ детской, увидела её ещё издали, изъ коридора, среди зала, всю залитую светомъ!.. Много прекрасныхъ игрушекъ нашли все мы, дети, подъ нею; подарки тамъ были для всехъ: и для взрослыхъ родныхъ, и знакомыхъ, и для прислуги. Кроме свечей, горевшихъ на дереве, длинный столъ былъ опоясанъ, какъ огненнымъ кольцомъ: весь онъ былъ унизанъ тарелками съ лакомствами для дворовыхъ людей и детей ихъ, и въ каждую, среди сладостей, была поставлена зажжённая свеча.

Прислуга постарше, все женщины и горничные девушки стояли в самом зале; остальные -- в передней и коридоре, и все получили подарки на праздники...

Бабушка всегда говорила, что "плохо то барское веселье, которого с барами заодно не делит вся прислуга". За то же и любили её люди, как, я думаю, мало господ на свете бывали любимы.

Несколько дней спустя я сидела с бабушкой в диванной, когда ей доложили, что приехал купец Горов и желает её видеть. Бабушка приказала принять и вышла к нему в гостиную, куда, разумеется, и я за ней скользнула. Оказалось, что Горов приехал просить всех нас к себе на ёлку. Он усиленно кланялся бабушке и просил, чтоб она сама, и мама, и тётя, и мы с Лёлей, все "сделали ему честь" приехать; а о папе большом сказал, что **"не смеет просить его"**.

Я очень удивилась таким речам! Мне казалось, что Горов нам желает сделать удовольствие; но какую мы ему сделаем **честь**, я решительно не понимала. Ещё менее могла я понять, почему он так странно сказал о дедушке: почему он нас смеет приглашать, а его просить не смеет?.. Я сильно задумалась об этом и верно спросила бы сейчас у бабочки, если б приезд новых гостей не помешал мне, а потом я об этом позабыла. Мне суждено было ещё многому удивляться на другой день, когда мы были у Горовых, и много наготовить вопросов на разрешение бабушки.

В шесть часов вечера возок наш остановился у большего каменного дома, и мы, с трудом выпутав ноги в тёплых сапогах из шуб, с помощью лакея Петра стали выбираться на подъезд. Одна Лёля, ловко выпрыгнув, миновала его руки; меня же, хотя я очень желала последовать её примеру, Пётр без церемонии захватил одной рукой, другой захлопнул дверцу, крикнув кучеру: "Отъезжай!" И понёс меня по ярко освещённой лестнице, вплоть до передней, где хозяйка и дочери её помогали бабушке, маме и тётям раздеваться. Дочерей Горова я знала, -- особенно старшую, хромую Машу: у них была дача недалеко от нашей, и мы раз у них завтракали; но жену его я в первый раз видела, и её пёстрое платье, синяя бархатная мантилья, серьги, множество колец и в особенности её чёрные-пречёрные зубы так меня поразили, что я совсем забыла, что надо слезть с залавка, на котором раздевал меня Пётр. Мне об этом напомнила Маша, целуя меня.

-- А! Здравствуйте, Верочка! -- сказала она, помогая мне сойти на пол. -- Пойдёмте в зал.

Все, кроме бабушки, уже туда входили. В дверях внимание моё опять было остановлено какою-то старушкой, в тёмном платье, с головой по самый лоб повязанной чёрным шёлковым платком как у няни Насты. Она спокойно, но неприветливо, нисколько не суетясь и без всяких улыбок, как хозяйин и его жена, смотрела на нас исподлобья и каждого встречала низким поклоном.

-- Матушка моя, ваше превосходительство! -- сказал, указав на неё бабушке, хозяин дома. -- Не изволите, кажется, знать?..

-- Нет, я хорошо знаю вашу матушку, -- приветливо отвечала бабушка, остановившись возле также молча ей кланявшейся старухи, -- мы часто встречались с нею в больнице и богадельне... Ещё недавно я видела вас, когда вы, на первый день праздника, кажется, -- привозили белый хлеб и пироги в богадельню. Не правда ли?..

-- Точно так, ваше превосходительство, -- с довольной улыбкой отвечал Горов. -- Это уж всегда так, каждый праздник матушка сами калачи пшеничные и пироги с говядиной возят в богадельню и в острог также-с. Это уж обычай у нас такой от прадедов ведётся... И, признаться, матушка мне говорили, что часто там с вами встречаются, но я думал, что вы их не изволили заметить.

-- Если б я даже её и не заметила, то не могла бы не слышать о вашей матушке: о добрых делах её знает весь город.

Я держала бабушку за руку, нарочно отстав от всех, и слушала внимательно. Меня удивляло серьёзное, почти суровое выражение лица старушки Горовой. Она ничего не отвечала бабушке, а только, продолжая кланяться, промолвила, не подымая даже глаз, указывая на зал:

-- Просим пожаловать.

Зато сын её много и весело говорил и, мне показалось, с большим удовольствием поглаживал свою бороду, из-за которой просвечивала большая круглая медаль на красной ленте.

"Богадельня!.. Острог! -- повторяла я незнакомые слова. -- Непременно завтра спрошу, что это такое?.."

В большой комнате, которую хозяева называли "залом", хотя пунцовая мебель в ней стояла такая как в гостиных, мы нашли много знакомых: всех сестёр Бекетовых, которых я очень не любила с тех пор, как они отказались играть у нас с моей милой Грушей Зайцевой, назвав её "*cette petite servante*" [*этот маленький раб -- фр.*], Варю и Олю Лихачёвых, и толстенку Катю Полянскую и ещё многих девочек и мальчиков со своими родными и гувернантками. Едва мы успели со всеми перездороваться, как отворилась дверь в другой зал, из которого послышалась музыка, и хозяин просил всех пожаловать "в органную"...

"Ещё новое слово!" -- подумала я; но сейчас же о нём забыла, так поразило меня зрелище блиставшего белого зала, залитого светом канделябров, люстр и сотен восковых свечей, горевших в середине комнаты на огромнейшей ёлке, которая до того густо была увешана, что ветки её гнулись под тяжестью конфет и украшений.

Чего тут не было! Какие прелестные бонбоньерки, шкатулочки, игрушки, фигурки и блестящие разноцветные гирлянды и цепи из леденцов и золотых и серебряных шариков. У меня, как и всех детей глаза разбежались на всё это великолепие.

Особенно красивыми казались мне разные фрукты: яблоки, груши, апельсины, сливы и персики, прекрасно сделанные из сахара, и огромный пряничный дом, украшенный фольгой вместо окон, с шоколадными дверями и миндальными ручками, который стоял на самой верхушке дерева.

Во всё время, не умолкая, на хорах в глубине зала играл прекрасный, дорогой орган, -- то есть большая, заведённая ключом шарманка. Потому-то хозяин и называл эту комнату **органной**.

Нас подвели к ёлке и начали угощать и усердно просить рвать всё, что нам угодно с ёлки; от чего мы, разумеется, отказывались. Тогда хромая Маша и её сёстры вооружились ножницами и начали сами срезать все хорошенькие вещицы и конфеты, неотступно прося нас указывать, что нам нравится. Чернозубая наша хозяйка всё улыбалась и кланялась, потчужа всех фруктами и вареньями, которыми был заставлен весь стол. Она взяла нас за руки и, подведя ко множеству хорошеньких бонбоньерок, просила выбрать себе, какие угодно.

Надя отговаривалась, конфузясь, но, наконец, принуждена была взять первую попавшуюся коробочку; Лёля же и я были сговорчивее и выбрали самые хорошенькие: сестра -- корзинку с цветами, а я -- уморительную обезьянку с блестящими глазами, которая поворачивала головой и хлопала в бубен, когда открывали ящик с конфетами, стоявший сзади неё. Мне ещё, кроме того, подарили пряничный дом, который мне так понравился на верхушке дерева. На Крещение я угостила им пришедших ко мне в гости приютских девочек, которые очень удивлялись моим рассказам о великолепной ёлке.

Но бабушка, не знаю почему, осталась недовольна ёлкой Горова... Ещё в возке, на обратном пути, я помню, она говорила, что очень жалеет, что мы все были на этой "глупой ёлке". Мама с тётёй Катей смеялись, успокаивая бабушку; они говорили, что нельзя было Горова обидеть, не быть у него или детям отказаться от "навязанных" подарков.

-- Да, -- сказала Надя, -- мне ужасно было досадно, когда они приставали ко мне с этой бонбоньеркой и своими угощениями!.. Особенно, когда потчевали вареньями, которые всем приходилось есть с одной ложки.

-- Ну, за это их нечего осуждать, -- отвечала бабушка, -- это уж так у них, по-купчески. Но очень неприятно, что он потратил такие большие деньги, чтоб нас угостить. Это уж просто глупо!

-- Отчего глупо, бабочка? -- вступилась я. -- Он -- добрый!.. Мне было очень весело.

-- Ну, слава Богу, что хоть тебе было весело, -- засмеялась бабушка.

-- А мне совсем не было весело! -- важно объявила Лёля. -- Это всё так по-мещански. Вот и Бекетовы тоже говорили, что им скучно... Мы всё смеялись над этой хромоногой...

Мама прервала её строгим замечанием, что это очень стыдно: что смеяться над чьим-нибудь природным недостатком грешно и показывает злое сердце; а я, как всегда не задумываясь, сказала:

-- Да вы, мама, не верьте: это Лёля выдумывает! Ей очень было весело, а она только так говорит, чтоб к большим приравняться. Бабочка сказала, что напрасно поехала -- и она за ней повторяет!

Все засмеялись, а сестра рассердилась на меня очень, но, впрочем, ненадолго; она никогда не помнила зла и вообще была очень добрая, хотя

мы с нею часто ссорились, как чуть было не вышло на другой день после ёлки у Горовых.

— Ну, слава Богу, что хоть тебѣ было весело, засмѣялась бабушка.

— А мнѣ совсѣмъ не было весело! важно объявила Леля. Это все такъ по мѣщански... Вотъ и Бекетовы тоже говорили, что имъ скучно... Мы все смѣялись надъ этой хромоногой...

Мама прервала ее строгимъ замѣчаніемъ, что это очень стыдно: что смѣяться надъ чѣмъ нибудь природнымъ недостаткомъ грѣшно и показываетъ злое сердце; а я, какъ всегда не задумываясь, сказала:

— Да вы, мама, не вѣрьте: это Леля выдумываетъ! Ей очень было весело, а она только такъ говорить, чтобъ къ большимъ приравняться. Бабочка сказала, что напрасно поѣхала—и она за ней повторяетъ!

Всѣ засмѣялись, а сестра разсердилась на меня очень, но впрочемъ ненадолго; она никогда не помнила зла, и вообще была очень добрая, хотя мы съ нею часто ссорились, какъ чуть было не вышло на другой день послѣ ёлки у Горовыхъ.



Рассуждения

По случаю праздников уроки ещё не начинались, мы сидели наверху, в нашей классной, возле кабинета бабушки, куда дверь была открыта, и перебирали все хорошенькие вещицы, подаренные нам Горовыми накануне.

Вдруг, я вспомнила о его посещении и спросила:

-- Лёля, отчего это Горов, когда звал всех нас на ёлку, сказал, что папу большого он просить не смеет? Как ты думаешь, отчего же нас всех он смел, а его нет?..

-- Вот прекрасно! -- презрительно отвечала Лёля. -- Как же ты не понимаешь?.. Ещё бы какой-нибудь **простой купец** смел к себе звать губернатора!.. Ведь наш большой папа -- губернатор! Ты что думаешь?..

-- А это что такое: губернатор? -- спросила я.

-- Губернатор -- самый главный человек в губернии. Понимаешь: в губернии!.. А в одной губернии может быть тридцать или сорок городов и несколько тысяч деревень, -- начала она сочинять.

-- Ай, ай, ай! Как много!.. Так, значит, большой папа -- важный?..

-- Ещё бы! Очень важный.

-- А кто важнее его?.. Царь -- важнее?

-- Господи! Дура какая!.. Царь -- один в России! У царя может быть **миллион** таких губернаторов!

-- Неужели? -- удивлялась я. -- А это сколько миллион?

-- Миллион?.. Ну, это много... очень много... Всё равно, ты не сумеешь сосчитать!

-- Ну, а кроме царя, кто ещё важнее папы?

-- Важнее папы?..

Лёля на секунду задумалась...

-- Ну вот министр важнее!

-- Ну?! А он кто такой, этот министр? -- добивалась я.

-- Ах, ты Боже мой! Кто такой!.. Ты ужасно глупая, Вера!.. Министр -- министр, вот и всё!

Но я всё-таки не поняла, что это за штука такая -- **министр**, и спросила:

-- А он где же живёт?

-- В Петербурге, с Государем. Их там много. Они все графы, князья... И там... управляют.

-- Управляют! -- не унималась я. -- Чем?..

-- Ах, ты Господи! Дура какая! -- окончательно рассердилась Лёля. -- Всем управляют. Отстань.

-- А здесь есть такой министр?

-- Здесь нет.

-- Так, кто же здесь важнее папы?

-- Говорю тебе, что здесь никого нет. Он -- самый главный...

-- О чём это вы говорите, дети? -- раздался вдруг голос бабушки из её комнаты. -- Кто это главный?

-- Я говорю, что здесь, в Саратове, никого нет главнее папы, -- покраснев, но храбро отвечала Лёля.

-- А вам что до этого за дело, дети?

-- Да вот Верочка спрашивает, отчего Горов сказал, что не смеет приглашать папы...

-- Ну и что же ты ей отвечала?

-- Что это верно оттого, что ведь папа -- губернатор... А Горов -- простой купец! -- отвечала сестра уже довольно сконфуженным голосом.

-- Какие ты глупости говоришь! -- возразила бабушка и позвала нас к себе.

Я вприпрыжку побежала в её кабинет; а Лёля тихо последовала за мной. Бабушка ласково, но очень серьёзно взяла её за руку и сказала:

-- Сколько раз я просила тебя, Лёля, не рассуждать о том, чего ты не понимаешь. Не рассуждать и никогда ничем не важничать, потому что это стыдно и очень глупо!.. Ну, что ты сейчас сказала? Что это значит: простой купец? Горов -- **простой купец**, а папа большой -- **простой губернатор**! Какая же тут разница? Оба люди. Вот если б Горов был дурной купец, или папа -- дурной губернатор, тогда было бы нехорошо, потому что дурными людьми быть грешно и стыдно! А если оба хорошие, честные люди, так это совершенно всё равно, кем бы их Бог ни сотворил: барином ли, купцом или мужиком. Родиться тем или другим от людей не зависит, но быть умным и добрым зависит от каждого из нас. И гораздо лучше быть хорошим мужиком, чем дурным господином... Чего бы, например, было тебе гордиться пред Машей, что ты родилась барышней, а она -- горничной девушкой?.. А между тем ты гордишься!.. Я сама слышала, что ты ей вчера говорила, что она **должна** уважать тебя, потому, что ты -- **барышня**. Подумай: умно ли это? Разве это твоя заслуга?.. Ей за это тебя ещё уважать не приходится, а скорей ты должна уважать её за то, что она такая хорошая, исполнительная девушка, так о тебе заботится, так хорошо тебе служит и, наконец, потому, что она гораздо старше и умнее тебя. Прежде вырасти и поумней, тогда требуй уважения; а пока будь благодарна за то, что тебя любят и прощают твои глупости и недостатки... Вот, хоть бы теперь: ты вздор сказала Верочке! Горов потому только сказал, что не решается приглашать папу, что знает, как крепко папа занят, и, разумеется, не смеет отрывать его от серьёзных дел для какой-нибудь детской ёлки, которая не может доставить ему удовольствия. Вот и всё!.. А ты знай вперёд, Лёля, что нет на свете, для людей умных и честных, ни важных, ни простых людей; а есть только люди полезные, добрые, умные или дурные да глупые. Первые всегда будут **главными**, и все их будут уважать. А вторых никто не будет ни уважать, ни любить, как они ни важничай и ни чванься без всякого на то права.

Лёля ушла очень сконфуженная выговором; а я уселась возле бабочки, на своём приятеле, набитом белом тюлене, и, положив голову ей на колени, спросила:

-- Бабочка! Скажи мне, душечка, отчего вы говорили вчера, что вам досадно, что вы были на ёлке?..

Бабушка оставила своё дело и, посмотрев на меня с минуту, улыбаясь и о чём-то думая, наконец сказала:

-- По-настоящему мне бы тебе следовало сказать, что это не твоё дело, потому что нехорошо маленьким девочкам слушать и расспрашивать обо всём, что говорят между собою большие, но, пожалуй, я скажу тебе. Мне жаль, что Горов потратил столько денег на вздор, тогда как на них можно было сделать так много добра бедным людям.

-- Что же такое, бабочка! Он такой богатый!.. Они и без того много добра делают, вы сами сказали... Вон его мать возит же бедным калачи и пироги...

-- А ты и это слышала?.. Ну, вот видишь: они только хлеба им по праздникам возят; а на те деньги, что стоила эта ёлка, не только бы накормить их можно было, но дать дров на целую зиму и, пожалуй, ещё и одеть.

-- А зачем же вы нам делали ёлку?

-- Мы делали ёлку для вашего удовольствия, -- это правда; но наша ёлка стоила недорого. Немножко можно истратить для удовольствия; но много тратить на пустяки -- глупо и даже грешно!.. Когда вырастешь, ты сама поймёшь это.

Я задумалась, а бабушка принялась за своё рисование.

-- Я теперь знаю, -- заговорила я через минуту, -- эта старушка, мать Горова, наверное, думала то же!

-- Отчего ты так думаешь? -- спросила бабушка, снова внимательно глядя на меня.

-- А оттого, что она так сердито смотрела на всех... А в зал, где была ёлка, вовсе даже и не вышла. Верно она и видеть не хотела такой глупости, жалея бедных людей, у которых отняли тепло и платье... Правда, бабочка?..

-- Правда, дорогая моя умница! -- похвалила меня бабушка. -- Тебе то же пришло в голову, что думалось и мне. Правда, видно, что стар да мал в мыслях сходятся!

И бабушка, ласково притянув меня к себе, крепко-крепко меня поцеловала.

Тут вошли мама с тётями, и бабушка рассказала им наш разговор.

-- Старуха Горова, говорят, староверка, а староверы ведь не едят с православными, -- сказала тётя Катя. -- Верно она оттого и не пришла в зал.

Разумеется, я сейчас же пристала к бабушке с расспросами, что значит **староверы** и **православные**? И хотя объяснить это такой маленькой девочке было довольно трудно, но бабушка всегда умудрялась мне всё на свете объяснять.

-- Ты знаешь, что Христос жил на земле очень давно, когда ещё никто не говорил по-русски, -- сказала она. -- Те люди, которые первые писали о Нём, как Он родился, страдал и умер распятый на кресте, писали на тех языках, на которых тогда говорили: по-гречески, по-еврейски, по-латински. Потом, все другие народы начали переводить священные книги и молитвы на свои языки, и мы, русские, тоже. Только русские перевели нехорошо: наделали много ошибок, которые пришлось после поправлять. Один умный, очень учёный человек, патриарх Никон, -- это всё равно, что архиерей, -- поправил все ошибки и велел напечатать другие книги, уже совсем верно переведённые с греческих молитвенников.

Мы ведь переняли свою веру у греков; когда больше будешь, то будешь об этом учиться. Мы все стали читать молитвы и служить в церквах так, как было напечатано в книгах патриарха Никона; а некоторые необразованные, бедные люди не поверили, что он **исправил** только ошибочный перевод, а вообразили, что Никон совсем **переделал** их! Свои молитвы сочинил, новую веру выдумал. Ну и стали они говорить, что молиться по этим новым книгам грешно, а что надо держаться книг старой печати. Поэтому они назвали себя **староверами**, в знак того, что они по-старому, по-настоящему будто бы верят и в отличие от нас, православных, которые, по их мнению, выдумали себе новую веру... Это совсем не правда! В сущности, и мы, и они верим тому же Богу, Иисусу Христу и святым, а староверы совершенно ошибаются, считая нас неверными старой, истинной вере. Надо надеяться, что эти бедные, простые люди поймут свою ошибку, когда больше будут учиться, и все мы, русские, будем одинаково веровать, одинаково молиться и славить Бога в наших православных церквах.

XXV.

Д о р о г а .

Зима промелькнула быстро, а съ приближеніемъ новой весны, мама начала поговаривать, что пора собираться намъ въ дорогу, что ей жаль бѣднаго папу, крѣпко по насъ соскучившагося. Папа писалъ, что теперь его батарею перевели въ хорошее мѣсто, въ Малороссіи, гдѣ тепло и мамѣ хорошо было бы жить. Онъ очень просилъ ее вернуться весною. Несмотря на горе и просьбы бабушки переждать хоть до лѣта, мама рѣшила, что выѣдетъ ранней весной.

Мнѣ было очень жаль расставаться съ родными и особенно съ дорогой моей бабочкой, которая не могла рѣшительно смотрѣть на насъ безъ слезъ и много плакала, по цѣлымъ часамъ разговаривая, запершись съ мамой въ своемъ кабинетѣ. Но я все-таки съ удовольствіемъ думала о предстоящемъ путешествіи. Всѣ дѣти охотники до переменъ и очень любятъ дорогу. Она такъ занимала меня со всѣми приготовленіями, покупками, укладкою и прочими подробностями, что я безъ особеннаго горя прощалась съ своими знакомыми и даже скоро перестала плакать, расставшись окончательно съ родными. провожавшими насъ дале-

Зима промелькнула быстро, а с приближением новой весны мама начала поговаривать, что пора собираться нам в дорогу, что ей жаль бедного папу, крепко по нам соскучившегося. Папа писал, что теперь его батарею перевели в хорошее место в Малороссии, где тепло, и маме хорошо было бы жить. Он очень просил её вернуться весною. Несмотря на горе и просьбы бабушки переждать хоть до лета, мама решила, что выедет ранней весной.

Мне было очень жаль расставаться с родными и особенно с дорогой моей бабочкой, которая не могла решительно смотреть на нас без слёз и много плакала, по целым часам разговаривая, запершись с мамой в своём кабинете.

Но я всё-таки с удовольствием думала о предстоявшем путешествии. Все дети -- охотники до перемен и очень любят дорогу. Она так занимала меня со всеми приготовлениями, покупками, укладкой и прочими подробностями, что я без особенного горя прощалась со своими знакомыми и даже скоро перестала плакать, расставшись окончательно с родными, провожавшими нас далеко за город.

Ехали мы в двух экипажах: в карете сидели мама, Антония и я между ними, а впереди -- горничная Аннушка с Леонидом на руках и доктор, который провожал маму по просьбе бабушки, или горничная девушка Маша, когда доктор пересаживался в тарантас, к нашей кривой мисс Джефферс. Она уверяла, что не может ехать в закрытом экипаже, что у неё голова болит. Лёля всю дорогу путешествовала из кареты в тарантас и обратно. Но подолгу ей ни тут, ни там не сиделось; а на каждой почти станции с ней случались самые неожиданные происшествия! Она была такая бойкая, живая шалунья, что с ней много дела и бед бывало гувернантке. Один из таких случаев во время нашего путешествия я запомнила хорошо, потому что он во всю последующую жизнь не переставал нас смешить.

На одной станции, на крыльце сидел какой-то проезжавший офицер в расстёгнутом сюртуке и шапке на затылке. Он смотрел на всё исподлобья мутными глазами, не то сонно, не то сердито и, громко пыхтя, курил из длинного чубука. Мама нам не велела подходить к нему, и я держалась подальше, тем более, что сама боялась его свирепого вида. Лёля же поминутно проходила мимо него, вертелась, поглядывала на него, стараясь обратить его внимание и с ним заговорить. Она ужасно любила разговаривать с посторонними... Но сердитый проезжий не обращал на неё никакого внимания, кряхтя и не выпуская из рта трубки.

-- Посмотри, Верочка, -- с улыбкой заговорила Елена, -- точно такая трубка как у нашего маленького папы... Помнишь?

Я совсем этого не помнила и, с упрёком взглянув на сестру, отодвинулась ещё дальше. Тогда Лёля, подпрыгнув, храбро обратилась к самому офицеру:

-- Какая у вас длинная трубка!

Он медленно приподнял на неё свои красные, опухшие глаза, но не промолвил ни слова.

-- У нашего маленького папы тоже такая, -- бойко продолжала она, сделав к нему ещё шаг.

-- У... маленького папы! -- хрипло промычал офицер. -- И... что же это такое... **маленький** папа?.. А?.. Что это такое?..

Лёля немножко отодвинулась, но, продолжая весело и задорно смотреть на него, объяснила:

-- Маленький папа -- наш отец. Он вот курит точно такие трубки с длинными чубуками как и вы...

-- Что-о?! -- заревел на это офицер, таким густым басом, что я в испуге отскочила к дверям. -- **Длинные** трубки?.. А... зачем у тебя такой **короткий** нос?.. А?! -- вдруг приподнялся он.

Тут и Лёля растерялась и, сделав несколько шагов назад, в недоумении смотрела на страшного офицера. Но, вдруг, тот опять опустился на своё место, вытянул ноги по полу, закинул назад голову и вместо баса заговорил тоненьким голоском:

-- Девчонка, ты, девчонка! И чего ты вертишься?!

Это восклицание как громом поразило сестру! Ей стало ещё обидней и досаднее от хохота Аннушки, слышавшей всё из кареты, где она сидела возле спавшего брата.

-- Вот видишь! -- говорила я, следуя за ней в комнату, куда нас звала англичанка. -- И чего ты в самом деле вертелась?

-- Не твоё дело! -- ещё более рассердилась Лёля.

Но после этого случая она перестала обращаться с разговорами к незнакомым людям.

В последнем городе мы нашли присланных за нами лошадей и поехали дальше на своих. Узнав об этом, я каждую минуту ждала, что мы сейчас приедем, сейчас увидим папу, которого я неясно помнила. Оказалось, однако, что мы ехали и никак не могли доехать!.. Дорога шла зелёными полями, мимо хорошеньких дубовых рощ и хуторов, закрытых садами. Вокруг так всё было весело: летали бабочки, птички заливались, порхая в зелени, столько было цветов по дороге, что так бы и побежала я рвать их на полях и в рощах! А тут тащись в душной карете, переваливайся со стороны на сторону. Скука смертная!..

-- Когда же город? -- спросила я.

-- Какой город? -- отозвалась мне мама.

-- Тот город, где живёт папа, куда мы едем жить! -- объясняла я.

-- Там города нет. Мы будем жить в деревне.

-- В деревне!? -- удивилась я. -- В чьей?

-- Да ни в чьей. В государевой. Разве ты не помнишь, как мы прежде по деревням жили?.. Где папину батарею поставят, там и мы будем жить.

-- Да!.. -- вспомнила я. -- Батарея -- это солдаты?

-- Солдаты, и офицеры, и пушки... Много солдат.

-- Я уверена, -- заговорила со мной Антония как всегда по-французски, - что ты в нетерпении увидеть папу?.. Не мешай маме, -- прибавила она тихо, -- говори со мной.

-- Да, -- нерешительно отвечала я. -- Мне хочется его увидеть, только... я нехорошо помню!.. Он разве такой же рыжий как брат Лида?

-- Отчего ты так думаешь? -- засмеялась Антония.

-- Оттого что, я помню, у него рыжие усы, и он всегда меня колот, когда целовал.

-- Так ты только и помнишь, что его рыжие колючие усы?.. -- смеясь сказала мама, ущипнув меня за щеку. -- А помнишь, как ты в Гадиче учила танцевать свою старую няньку Оринку?..

-- Ах, да, няня Орина! -- припомнила я. -- И она тоже здесь, мама?

-- Нет, детка, она осталась там, в своей деревне.

-- Ах! Как жаль!.. Отчего она не здесь?

-- Она не хочет к тебе ехать, -- вмешался наш доктор, посмеиваясь, -- говорит, что ты её крепко щипала и била, когда учила танцевать. Боится, что ты опять её в танцовщицы запишешь.

-- Ах, перестаньте, пожалуйста, -- сказала я с досадой.

Я терпеть не могла этого противного доктора! Это был тот самый, про которого няня Наста говорила, что "у него баки как у собаки"... К тому же он умудрился ещё недавно разобидеть меня до слёз, выбив щелчком, шатавшийся у меня зуб, и вечно приставал, будто я задумываюсь "о небесных миндалях", -- что меня очень сердило. А я в самом деле часто задумывалась, сама, не зная о чём, так глубоко, что меня трудно было дозваться...

Мы давно уже поднимались в гору, часто останавливаясь, чтоб дать вздохнуть усталым лошадям; но как ни старался наш солдат-кучер, как ни махал вожжами и ни перевешивался с высоких козел, как ни свистал, ни кричал и ни суетился с кнутом в руках наш повар Аксентий, кончилось дело всё-таки тем, что лошади стали.

-- Говорил я, чтобы шестёрку, так нет!.. Буде и четвёрки: пушки, говорят, возьмёт!.. Вот те и пушки!.. -- ворчал кучер.

-- Что ж теперь делать? -- тревожилась мама. -- Нельзя ли мне пересесть в тарантас, чтобы скорее доехать?

Но доктор этого ни за что не позволил, говоря, что тряска очень вредна маме. Решили послать за подмогой верхом Аксентия, и хоть наш ленивый повар и отговаривался тем, что дороги не знает, но кучер его пристыдил:

-- Ты, хлопец, пусти только лошадь: она сама тебя прямиком к батарейным конюшням вывезет!.. Тут рукой подать! Только что вот гора эта несподручна, -- прибавил он, -- а как выберемся, так и лагеря тут же.

Нечего делать! -- Взлез Аксентий на спину лошади и поехал, высоко подпрыгивая, взмахивая локтями и своей серой развевавшейся шинелью, подпоясанной ремнём. Мы все смеялись, глядя ему вслед...

Кучер наш спокойно закурил коротенькую трубочку, а все мы, кроме мамы, лежавшей с закрытыми глазами, стараясь заснуть, вышли из кареты и разбрелись вокруг. Я с пряником в руках села недалеко, на меже, любуясь на множество жаворонков, суевившихся на полях. Они вылетали, шурша крылышками, из травы; взвивались как стрелы и исчезали в высоте, откуда слышались тысячи их серебристых песен. А то также прямо и быстро спускались на землю, мелькали задорными хохликами, переваливаясь в посевах, и снова исчезали, юркнув в траву.

-- А ну-ка, сударь! Ну-ка, барышни! Садитесь. Лошади вздохнули: авось теперь лучше вывезут.

-- А как же тарантас? Ведь из него лошадь выпряжена! -- спросила Антония, которая сидела на большом камне у дороги, забавляя Лиду.

-- Тарантас-то лёгкий! Его и пара увезёт. Чем стоять да ждать, поедemте с Богом, пока что!

Лагерь

Мы уселись. И в самом деле, отдохнувшие лошадки подхватили дружно и, не дождавшись никакой подмоги, в полчаса вытянули нас на гору. Кучер наш говорил правду: сверху горы раскинулись пред нами поля и леса, а среди зелени ближайшей рощи на красивой поляне белелись палатки батареи. Все мы загляделись на красивую картину... Но что это?.. Кто это такие?

К нам навстречу в перегонку, запыхавшись, бежало несколько офицеров. Какой-то совсем молоденький опередил всех, смеясь, крича что-то товарищам; двое-трое других его догоняют... У всех такие весёлые лица...

Мама оживилась, припав к окну, называя их по фамилиям.

-- А вот, смотрите, дети! -- вскричала она. -- Вон и папа бежит! Видите?..

-- Где? Где?.. -- спрашиваю я.

-- Я вижу папу! -- весело кричит Лёля, хлопая в ладоши.

-- Да где же он? Который?.. -- чуть не плачу я.

-- Да как же ты не видишь? -- смеясь указывает мне мама на отставшего дальше всех, высокого толстого господина. -- Ишь переваливается!.. Запыхался! Верно давно по горам не бегал, -- весело пошутила моя милая мама, здороваясь с прибежавшими навстречу ей знакомыми.

Карета остановилась; передовой офицер быстро отворил дверцы, и мы сами побежали навстречу папе.

Как весело провели мы этот чудесный вечер! Нам был приготовлен домик на хуторе, но мы остались пить чай в лагере. Все сбежались с приветствиями, с поздравлениями. Накрыли стол пред папиной палаткой; все снесли сюда всё, кто чем богат: кто варенья, кто сухарей, кто молочник сливок или лимон. Музыка велели играть невдалеке... Все маму любили, все были рады её возвращению, а уж про папу и говорить нечего!..

Он подложил свою шинель под ноги маме, чтоб она не простудилась, и всё возился со своим новым сынишкой, подбрасывая его на воздух и любуясь, как он заливался весёлым, звонким хохотом, знакомясь со своим папой. Мы с Лёлей, пока Антония с мисс Джефферс хозяйничали у чайного стола, успели с Машей сбегать в рощицу и вернулись с букетами, которые положили перед мамой.

Нам было очень весело!.. Мы дождались восхода полной луны, и все пошли провожать нас с музыкой и песенниками на хутор, где нам была приготовлена чистенькая хата.

Мы прожили тут несколько дней и совсем заморили нашу бедную англичанку, то и дело бегая в лагерь, в рощи и назад домой. Мама ужасалась нашему безделью и, вздыхая, говорила только о том, чтоб поскорее приехать на место да начинать аккуратно учиться.

-- Вы совсем отвыкли от уроков и избаловались за дорогу, -- говорила она.

-- О! Yes, -- нараспев поддерживала её наша мисс. -- Learn [*учиться*] -- нэт! Quite [*совсем*] избаловаль and всё забиль.

-- А вот и нет, -- не всё забиль! -- передразнила я её. -- Я помню, как вы меня учили.

И став среди комнаты в торжественную позу, я начала указательным пальцем дотрагиваться до носа, рта, глаз, приговаривая:

-- О! -- Nose!.. О! -- Mouth!.. О! -- Eyes!.. О! -- Chin!.. [*Нос! Рот! Глаза! Подбородок! - англ.*]

-- Ну, уж ты смотри у меня, шалунья! -- прервала меня мама, погрозив мне пальцем.

-- Oh! Naughty little girl!.. [*О! Шаловливая девчонка!.. - англ.*] -- согласилась наша кривая англичанка; а я выбежала из хаты, схватила за руку Лёлю и ну бежать с нею вниз с горки, к папе в палатку.

Наконец, папина батарея выступила, и мы отправились шаг за шагом вместе с нею. Мама так устала от долгой дороги, что доктор ей советовал так медленно ехать. Потому мы два дня ехали 80 вёрст до местечка, где должны были жить, но мне было ужасно весело всё время. Погода была прекрасная, мы останавливались обедать и пить чай среди дубовых рощ, на зелёной траве, много гуляли и бегали, даже играли в горелки с двумя молодыми офицерами и Антонией. А раз папа взял меня к себе на лошадь. Вот тут-то было торжество!.. Солдаты шли впереди с весёлыми песнями; офицеры скакали на лошадях, а я важно ехала с папой на его большой рыжей лошади, весело поглядывая на всех.

Один из офицеров, увидав, что я еду с папой, хотел непременно слезть и посадить на свою лошадь Лёлю. И Лёле этого ужасно хотелось! Она вся вспыхнула, и голубые глаза её загорелись... Но мама этого ни за что не позволила и даже рассердилась на папу, когда он стал просить об этом.

Узнав о чём шла речь, мисс Джефферс пришла в такой ужас, что её белый глаз совсем закатился, а тёмный подошёл к самому носу.

-- О! For shame, miss Lolo! О, how shocking!.. [*О! Стыдно, мисс Лоло! О, как ужасно!... - англ.*] -- кричала, она.

Лёля грозно на неё посмотрела, но, увидав, что ничто не помогает, что все против неё, тряхнула своими белыми волосами и с горя начала браниться с ней по-английски, с Антонией -- по-французски, а с доктором -- по-русски, успевая всем разом ответить.

Наша гувернантка кричала и обо мне, когда папа сажал меня на лошадь, что это стыдно; но мама с Антонией успокоили её тем, что я ещё маленькая.

Подъехав к месту нашего роздыха, кто-то из офицеров научил солдат кричать мне:

-- Ура!.. Здравия желаем новой командирше!.. -- что заставило всех, даже нашу чопорную мисс, рассмеяться.

Папа крепко поцеловал меня, спуская с лошади на руки денщика Воронова; а я так была довольна, что даже не заметила, уколол ли он меня на этот раз своими усами...

К вечеру, в тот же день мы приехали в хорошенькую малороссийскую деревню, где должны были долго прожить. Но я так устала, что ничего вокруг себя не видела, и, едва напившись чаю, крепко заснула.

На новых местах

Проснувшись рано на другой день, я выглянула в окно и торопливо начала одеваться. Перед окнами был густой вишнёвый садик, и я начала будить Лёлю, чтоб скорее погулять с ней; но она была такая соня, что я успела набегаться вдоволь, пока она поднялась.

Славные у нас были тут домик и сад, совсем простой, заросший, но такой тенистый, что в нём отлично бывало играть в прятки. В одном конце его стояла белая хатка хохлушки-сторожихи, у которой было множество птицы, не только домашней, а также перепелов, дроздов и голубей, с которыми я целые утра возилась, до самых уроков, убегая к хохлушке в гости.

Так у неё было славно, в её чисто выбеленной внутри и снаружи хате, в палисаднике, засаженном подсолнечниками и высокими, разноцветными цветами ржи; такая она сама была хорошая, весёлая да забавница, что мы часто с Лёлей заслушивались её бойких речей, хотя не совсем их понимали. И какие вкусные она варила галушки да пышки пекла, -- прелесть! Не только мы, и мама сама с удовольствием их кушала с утренним чаем. Мы очень подружились с нею и называли не иначе как хозяйкой, хотя дом наш совсем принадлежал не ей. Это был хороший деревянный дом с несколькими комнатах, просторных и светлых. Я жила в одной комнате с Леонидом и Антонией; Лёля спала рядом с мисс Джефферс; а у мамы была угловая комната, спальня и вместе кабинет, где она проводила часто целые дни и вечера за работой. Ей теперь было гораздо лучше, чем в прежних стоянках папиной батареи, где, бывало, её рабочий стол отделялся от нашей детской одной коленкоровой занавеской. С высокого крыльца нашего, выходявшего по другую сторону сада в большой зелёный двор, был прекрасный вид, -- на далёкие поля, тёмные дубовые рощи да вишнёвые садики, из-за которых по утрам живописно подымался голубой дымок спрятанных за ними хат, расстилаясь по долине.

Мы часто ходили на дальние прогулки, в соседние хутора или в большой фруктовый сад какого-то помещика, который никогда тут не жил. Антония редко с нами ходила; у неё было много дела, и она любила больше оставаться с мамой, которая по-прежнему часто болела. Мы отправлялись почти всегда в одном порядке: впереди шла наша англичанка, за нею Аннушка везла Лиду в деревянной повозочке; потом шла Маша, а мы бегали во все стороны, то опережая их, то отставая. В этих прогулках я часто засматривалась на высокую фигуру нашей некрасивой мисс Джефферс. Меня удивляли её вечное спокойствие и неподвижность!.. Как прямо шла она, уткнувшись носом и устремив свои косые глаза в английскую книгу, которую держала высоко перед собою, потому что была очень близорука. Изредка обращалась она к нам, в особенности к Елене, с каким-нибудь вопросом или замечанием, которого сестра никогда не слушалась; на что в свою очередь и мисс не обращала ровно никакого внимания и продолжала важно шагать перед нами как какая-нибудь длинноногая цапля на болоте.

На обратном пути обыкновенно происходила перемена: Лида бывал уж на руках няньки, а Маша везла обратно повозочку, полную слив, вишен или хороших дынь и арбузов, с дальней бахчи.

Мы каждый день аккуратно учились; особенно Лёля очень серьёзно занималась с гувернанткой английским языком, а французским и ещё многому другому -- с Антонией; кроме того, к ней откуда-то приезжал три раза в неделю учитель музыки. Несмотря на много уроков, Лёля всё-таки находила время шалить, такая уж она была проворная!

Я тоже была порядочная шалунья, но всё-таки не такая; я никогда не умела выдумать так хитро как Лёля, и, кроме того, я была послушнее. В особенности я слушалась всегда Антонию. Я очень её любила!.. Прежде, в Саратове, где у меня было столько родных, моя баловница-бабушка, столько развлечения и удовольствий, так много знакомых, я не так была близка к ней, как теперь. Теперь же я гораздо больше с нею училась, и так как мне совершенно не с кем было играть, кроме Лёли, то я вообще проводила с нею гораздо более времени. Когда было ей время, никто не умел так забавить меня игрой, а ещё чаще рассказами, как милая моя Тонечка, -- так она приучила меня называть себя, в редких случаях, когда я говорила с ней по-русски, чего, впрочем, почти никогда не случалось, так как она сумела уверить меня с четырёхлетнего возраста, что она ни слова по-русски не знает. Антония так любила детей вообще, а меня в особенности, что умела ради нашего удовольствия, играя с нами, сама превращаться в ребёнка и искренно веселиться вместе с нами. Она была удивительно деятельна: всегда занятая с утра до вечера и даже во время наших уроков, она не переставала шить или вязать.

Раз я читала ей громко историю маленького Шарля, который, не желая учиться в школе, по дороге туда заговаривал со всеми встречными: с лошастью, с собакой и с пчелкой; а Антония, разложив на полу что-то очень большое, кроила, ползая на коленях с ножницами в руках и не глядя на меня, поправляла каждую мою ошибку. Я очень удивлялась, как она может безошибочно знать каждое слово, не глядя в книгу?..

-- Это совсем нетрудно, -- отвечала она, улыбаясь, на мой вопрос. -- Ты сама будешь делать то же, когда вырастешь.

-- О! Нет, я никогда не буду знать всего, что вы знаете! -- отвечала я с таким же недоверием к своим будущим знаниям, какие выражала когда-то бабушке по дороге с нею в приют.

-- Вот вздор какой! Ты ведь уверяла же меня прежде, что никогда не будешь говорить по-французски. Помнишь, как я тебя уверила, что не знаю по-русски?.. Ты капризничала, говоря, что никогда не поймёшь меня и не будешь отвечать; а я спорила, что очень скоро научишься. Кто же был прав?.. Ты тогда была такая маленькая дурочка, что поверила, что я сразу забыла русский язык. Помнишь?

-- Да, ещё бы не помнить! И как я удивлялась, когда вы нам читали русские сказки!.. Я была совершенно уверена, что вы не забыли только читать, но ничего не понимаете.

-- Видишь ли, как удалась моя хитрость?.. Теперь уж незачем больше и обманывать тебя: ты сама иначе не говоришь со мной как по-французски.

-- Да когда по-французски как-то ловче!

-- Ну и слава Богу, что ловче. По-русски можешь говорить со всеми, а со мной и с мисс надо русский язык оставлять в стороне.

-- Так, пожалуй, и мисс нас обманывает, -- вскричала я, -- может быть, и она знает по-русски, а только с нами говорить не хочет, чтоб мы скорее по-английски научились?..

-- What, -- отозвалась из другой комнаты англичанка, -- what about miss?.. [Что-что насчёт мисс?.. -- англ.]

Антония засмеялась.

-- Нет, -- сказала она, -- мисс Джефферс в самом деле не знает ни русского языка, ни даже французского, а не то я рассказала бы ей в чём дело. Теперь, так как я не говорю по-английски, -- приходится нам позвать Лоло на помощь... Ты ведь ещё не сумеешь ей сама объяснить?

Я отрицательно покачала головой.

Позвали Лёлю, и она мигом рассказала англичанке, о чём мы говорили. Она сначала слушала беспокойно, перекосив свой светлый глаз на тёмный и высоко закинув, по своему обыкновению, голову назад; потом успокоилась и начала уверять меня, что не может выучиться по-русски, потому что стара для этого; а что мне самой надо скорее научиться говорить по-английски и петь "pretty English songs" [*Прелестные английские песни* -- англ.] ... Я сделала гримасу, не находя ровно ничего хорошего в её песенках. Мисс мне ужасно надоела со своей единственной песней про какого-то короля, который в казначействе считал свои деньги в то время, как королева ела хлеб с мёдом, а их бедная служанка вышла развесить в саду бельё, и вдруг прилетела маленькая чёрная птичка и выклюнула ей нос... Я совершенно справедливо находила эту песню ужасно бессмысленной и горячо доказывала, что королевские служанки белья в садах не развешивают, а маленькие птицы никак не могут склюнуть человеческого носа... Тем не менее я к концу лета уже порядочно болтала по-английски, не только с "мисс", но и с сестрою.

Мама ужасно радовалась нашим успехам, а папа говорил, что напрасно мы не учимся его родному, немецкому языку, вместо любимого мамою английского.

-- Пойдите вот, -- говорил он, -- повезу вас к бабушке, она заговорит с вами по-немецки, а вы не понимаете!.. Вот и будет и вам, и маме стыдно.

-- Вот ещё! -- закричала я. -- Бабочка не станет говорить с нами на чужом языке... Она сама много языков знает, а говорит всегда по-русски.

-- Дурочка! Я не про ту вашу бабушку, что в Саратове живёт, говорю. Это другая: моя мама... Она не так далеко отсюда. Вот соберёмся, -- съездим к ней в гости.

-- Я не хочу!.. Какая там ещё новая бабушка?.. У меня одна бабушка -- бабочка!.. Другой я не хочу.

Мама и Антония остановили меня.

-- Стыдно большой девочке так глупо говорить!

-- Ты ещё не знаешь этой бабушки -- папиной мамы; а когда узнаешь, наверное полюбишь так же как и мамину маму.

-- Никогда! -- протестовала я, не запинаясь. -- Как я могу другую полюбить так как свою родную, милую бабочку?.. Ни за что на свете!

-- Перестань же, глупенькая! -- сказала мама серьёзным голосом; но я видела, несмотря на её строгий тон, что чудесные, добрые глаза её улыбались мне ласково.

-- Покормит тебя бабушка конфетами, ты и её крепко полюбишь, -- заметил папа.

Я только что хотела сердито отвечать ему, когда Антония взяла меня за руку и, пока мама заговорила о чём-то с папой, тихо и строго сказала, уводя меня в другую комнату:

-- Молчи! Как не стыдно тебе огорчать отца?

-- Чем? -- удивилась я.

-- Тем, что говоришь, что не хочешь поехать к его маме. Это его обижает и огорчает!.. Подумай, если бы кто-нибудь стал бранить твою мать, -- приятно ли бы это тебе было?..

-- Да я совсем не браню... -- сконфуженно бормотала я, -- я только говорю правду, что никого так не могу любить как бабочку...

-- Никто тебя об этом не спрашивает. И, наконец, почём ты можешь знать это, не зная совсем бабушки Васильчиковой?.. -- мать моего отца по второму браку была Васильчикова. -- Когда узнаешь и увидишь, какая она добрая и как вас любит, тогда другое запоёшь...

И Антония долго говорила на эту тему.

Я молчала... Сколько она меня ни старалась уверить, я всё-таки была твёрдо убеждена, что не может быть **другой** такой бабушки в целом свете как моя родная бабочка, и что я никогда не полюблю папину маму так как её.

Однако, Лёля, которой удивительно легко давались языки, сама вызвалась учиться по-немецки и начали три раза в неделю аккуратно заниматься с Антонией. К осени она уже много понимала и читала совершенно свободно. Папа хвалил её и в шутку назвал её раз "достойной наследницей своих славных предков, германских рыцарей Ган-Ган фон дер Ротер Ган, не знавших никогда другого языка, кроме немецкого"...

-- Значит, папа, они были очень необразованные, -- сказала я, -- потому что мама говорит, что все образованные люди должны знать несколько языков...

Папа засмеялся и, целуя меня, сказал, что желал бы, чтоб я была очень образованной девицей, а потому и попросит Антонию Христиановну заняться и со мной немецким языком.

Болезнь

Вскоре после нашего приезда, я раз легла спать очень рано, с головною болью и проснулась вдруг, как мне показалось, среди ночи, но вероятно это был вечер, потому что Антония ещё не ложилась, и весёлые голоса мамы и её слышались из соседней комнаты и почему-то ужасно меня испугали: мне казалось, что случилось, верно, что-нибудь страшное... Я быстро вскочила, чувствуя, что вся горю, и отбросила одеяло. В ушах у меня звенело, всё тело моё чесалось, и мне страшно хотелось пить...

-- Antonie! -- вдруг закричала я сердитым и вместе испуганным голосом.

-- Venez donc ici! Où êtes vous? [*Иди сюда! Где ты? -- фр.*]

Мама и Антония вбежали вместе, испуганные моим криком. Я схватила маму за руку и, сидя на решётке своей кровати, вся дрожа, спросила:

-- Кто это там?.. В углу!

-- Где?.. Кто?.. Кого ты видишь?..

-- Да вот! -- махнула я рукою в угол. -- Этот высокий серый человек, с поднятой рукою?.. Монах...

-- Что ты, Христос с тобою? Никакого монаха здесь нет, -- мама пощупала мне голову и беспокойно прибавила, -- да у тебя жар!

-- Ах! Какой там жар? -- Мне холодно. Меня кусают муравьи!.. И зачем этот серый монах тут стоит?.. Прогоните его! Смотрите: какая от него длинная тень ложится по всему полу!.. Зачем он так высоко поднял руку и держит прямо-прямо?..

Мама села возле меня, стараясь меня успокоить, а Антония побежала, чтоб послать за доктором. Я ни за что не хотела лежать смирно, разбрасывалась и с ужасом смотрела на серого человека.

Странно, что это видение моего воображения преследовало меня во всякой болезни, всё моё детство. Едва я впадала в бред, как высокий серый человек, одетый монахом, с поднятой вверх ладонью и длинной чёрной тенью на полу, являлся и стоял неподвижно, где-нибудь поодаль, -- в дверях или простенке, и никогда не изменял положения. Он даже часто снился мне, но я боялась его только в болезни.

Особенно на этот раз он казался мне страшен.

-- Да прогоните же его! -- кричала я. -- Я не хочу оставаться с ним! Возьмите меня отсюда!.. Эти муравьи меня съедят.

Мама села возле меня, стараясь меня успокоить, и я скоро забылась, припав к её руке.

Когда я пришла в себя, среди ночи, оказалось, что меня перенесли в мамину комнату и навалили на меня несколько одеял и шубу, которую я поспешила сбросить с себя на пол, попросив воды напиться. На голос мой мама приподнялась на кровати, а Антония встала с дивана и начала поспешно закрывать меня опять салопом, по самое горло, а вместо воды дала мне чего-то тёплого, противного...

-- Что это за гадость? -- закричала я. -- Я хочу холодной воды.

-- Не говори пустяков: холодного тебе нельзя, потому что ты пила малину и должна теперь закрываться, как можно теплее. Скорей, скорей спрячь руки под одеяло.

И Антония натянула мне шубу на самый нос.

Намучилась я в эту ночь от жару и жажды; зато больше не видала **монаха**, и к утру прошла вся моя крапивная сыпь. Через два дня я встала, а дней через пять-шесть мне позволили выйти в сад.

То-то была радость! Я больше всего скучала эти дни о своих птицах, которых так любила кормить на чистеньком дворике хохлушки. Я нашла их всех очень изменившимися: жёлтые гусенята и цыплята, которых я оставила пуховыми шариками, ужасно подурнели! Они стали такие неуклюжие, в редких торчащих пёрышках на крыльях и хвостиках. Зато голуби и перепела были всё такие же хорошенькие... А вишнёвые-то кусты как изменились!.. За последнюю неделю вишни так созрели, что густая зелень вся была покрыта исчерна-красными, сочными ягодами, смотревшими очень аппетитно.

-- Вот прелесть! -- говорила я, любуюсь.

-- Ну уж! Нашла прелесть! -- презрительно отозвалась Лёля. -- Дрянные вишни!.. Вспомни-ка, что теперь в грунтовом сарае, на нашей даче, в Саратове!

Я вспомнила и глубоко вздохнула. Как не мил был наш садик, но, разумеется, он не мог сравниться с саратовской рощей. К тому же я очень часто скучала о родных и особенно о доброй своей бабочке, и слова сестры заставили меня пригорюниться.

-- Ну, чего ты насупилась? -- засмеялась она через минуту. -- Что ж делать? -- Дача далеко; а у нас здесь тоже недурно. Давай играть в прятки!

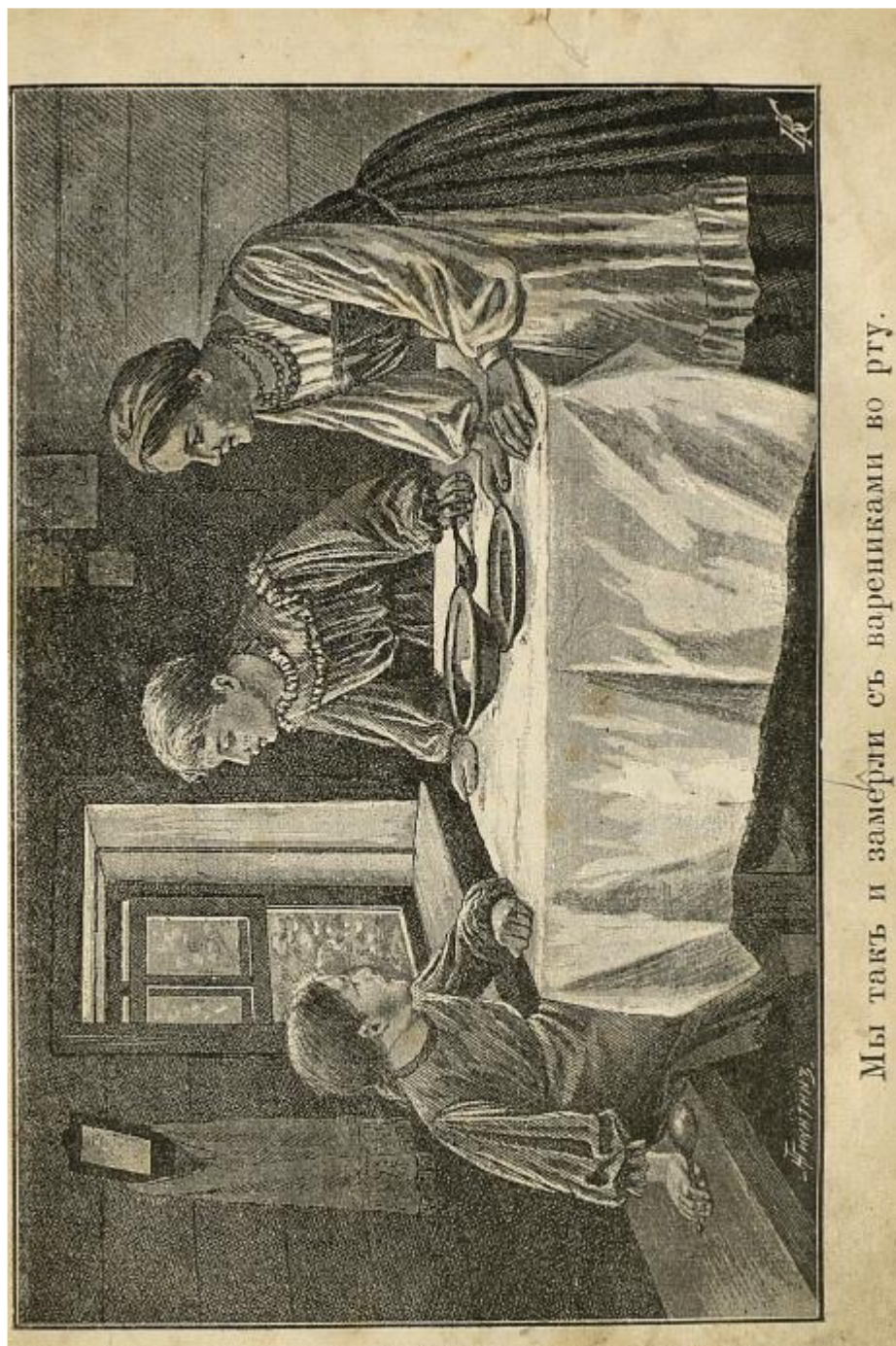
И Лёля вскочила и побежала в самую глубь сада прятаться. Она, по своему обыкновению, принялась сначала бегать, влезать на деревья, перелезать в соседние садики через плетень, -- хотя и то, и другое нам было строго запрещено, -- и, вообще, ужасно шалила. Но шалости, как и всё на свете ей очень скоро надоедали: она беспрестанно меняла расположение духа. Благополучно спустившись на землю со старой груши, на которой только что звонко куковала, бросая в меня неспелыми фруктами, Лёля бросилась в высокую, некошеную траву и начала смешить меня разным вздором и выдумками, на которые была большая мастерица.

Она уверяла, будто бы один из папиных офицеров -- маленький, толстый капитан, который очень много ел, ужасно нравился нашей разноглазой, косой англичанке, тоже любившей покусать. Что будто сама она, Лёля, слышала, что он ей говорил: "Мисс! Я бы сейчас на вас женился, -- если б вы хоть один разочек на меня **пряменько** взглянули!.." Косыми-то глазами! Наша бедная мисс ни на кого не могла смотреть прямо.

-- Он ведь, ты знаешь, лысый! -- говорила Лёля. -- Накладку носит. Так я мисс уже обещала, что если она выйдет за него замуж, так я непременно в день их свадьбы заберусь в церковь и той самой удочкой, что недавно папа мне подарил, чтоб ловить рыбу, зацеплю и стащу паричок с его лысенькой головки!.. Непременно! И если б ты знала, как мисс этого боится, -- ужас! Я думаю, она ни за что не посмеет за него выйти замуж!..

Я очень хорошо знала, что Лёля всё это выдумывает; но она так смешно рассказывала, что нельзя было не смеяться, глядя на совершенно серьёзное лицо, с которым она болтала такие пустяки.

Вареники



Дня через два мы опять играли в саду, когда к нам подошла хозяйка, хохлушка наша, прося нас придти к ней в хату попробовать, какие она, ради Божьего праздника, -- а было воскресенье, -- вкусные вареники с вишнями сварила.

-- Вареники?.. Ах! Как жаль, что нам нельзя! -- с глубоким сожалением воскликнула я.

А дело было в том, что мне после болезни, а Лёле по случаю недавнего расстройства желудка, было строжайше запрещено есть вишни.

Отпуская нас в сад, Антония нам ещё раз это напомнила, и мы ей дали слово не рвать вишен, что до сих пор свято исполняли. Но тут, выслушав приглашение, Лёля закричала:

-- Отчего нельзя!?. Вот ещё глупости!

-- Да как же, мы Антонии обещались?..

-- Что обещали? Глупая! Ведь мы обещали не есть вишен, -- а не вареников с вишнями!..

-- Разве это не всё равно?

-- Конечно, не всё равно: сырые вишни или варёные!.. Вареники -- это всё равно, что варенье; а ты знаешь, что тебе давали даже лекарство закусывать малиновым вареньем. Пойдём!

-- Ходить до мене, гарненьки мои барышни! -- уговаривала нас хохлушка, не зная, что нам запрещены были вишни. -- Поищите варенычков моих пшеничных. Яки ж воны смачны!

-- Ну пойдём! -- не выдержала и я, вставая.

И мы направились к хозяйкиной хате!

Уж и вареники же, в самом деле, какие вкусные были! Из белой муки, с отборными, спелыми вишнями и все залиты свежим, сотовым мёдом. Просто на славу!.. Наша добрая хохлушка была хозяйка домовитая: у неё тут же в палисаднике и свои ульи стояли. Мы боялись, из-за пчёл, ходить туда и только издали любовались его кудрявой липкой и высоким тыном, увитым хмелем, из-за которого красиво пестрели подсолнечники, рожи, да бузиновые кусты.

Ай да вареники!.. Мы ели да только облизывались. Глиняная мисочка, поставленная перед нами на стол, уже совсем почти опустела, когда вдруг... о, ужас! В маленькое окошечко из сада раздался голос горничной девушки, Маши.

-- Лёля! Верочка!.. Где вы?.. -- кричала она.

Мы так и замерли с деревянными ложками в руках и варениками во рту!

Что тут делать? Нас ищут; сейчас откроют, что мы, две **больные**, объедаемся варениками с вишнями, скажут Антонии, маме!.. Какой стыд! Боже мой, куда нам деваться?.. Куда бы спрятаться?.. Изобретательная Лёля сейчас нашлась:

-- Молчи! -- шёпотом прикрикнула она на удивлённую хозяйку. -- Не говори, что мы у тебя! Скажи, что ты нас не видала, -- а не то нас будут бранить.

Говоря это, она лезла сама и меня тащила за собою, на хозяйкину кровать, под высокую перину... Я забила туда рядом с сестрой, и мы притихли; хотя я с ужасом чувствовала, что не совсем успела спрятаться, что кончики моих ног торчат из-под взбитой горой пуховой перины.

Голос всё раздавался в саду громче и нетерпеливее. Ясно, что опасность приближается, а тут эти ноги выставились напоказ, и я никак не могу втянуть их. Уф! Измучили меня они!.. Я бы, кажется, позволила их обрубить совсем с башмаками, только бы избавиться от мучительного сознания, что их видно на целую четверть.

Вот ближе, ближе голос и наконец раздался у самого окна:

-- Что, наших барышень нету здесь?

Я прижала носки к перине и замерла.

-- Ни! -- громко отвечала хохлушка, будто бы доставая что-то ухватом из печки. -- Тут их не бывало.

-- И в саду не видала ты их? -- продолжала несносная Маша, пригнувшись к низенькому оконцу.

-- Да ни же, ни! И в саду не бачила... Не было их туточки... -- солгала хозяйка, стуча горшками и ухватом.

-- Вот оказия-то! -- удивлялась Маша. -- Да где же это они?.. Уж не через плетень ли в чужой сад перелезли?

И она пошла себе, снова выкликая нас по именам.

Едва она отошла, Лёля выскочила из-под перины с хохотом, вся красная, растрёпанная и запрыгала, забила в ладоши, от удовольствия. Хозяйка тоже смеялась... Улыбалась и я... Только мне было немножко стыдно.

-- Пойдём домой, -- сказала я тихо.

-- Нет! -- Подождём, чтоб Маша совсем в другую сторону отошла! -- с необыкновенным оживлением отвечала Лёля. -- Тогда мы вылезем в окно и пробежим прямо к нашему крыльцу, будто разминовались с ней. Никому и в голову не придёт, что мы были здесь.

Мы так и сделали, и благополучно вернулись домой, солгав, что мы всё время играли по другую сторону сада. Никто не узнал нашего обмана, пока мы сами, чрез долгое время не рассказали о нём; но я должна сказать к своей чести, что воспоминание об этом происшествии не только никогда меня не забавляло, но напротив, было очень неприятно. В особенности мне было стыдно перед мамой и Антонией! Сознание, что я обманула их доверие, долго меня тяготило.

Поездка в Диканьку

За учением и шалостями время шло так скоро, что мы и не заметили, как пришёл конец лета. Запестрели дубовые рощи, покраснелись рябина и калина, а во фруктовых садах уж груши и яблоки были сняты.

Осень в этом году была хорошая. Яркое солнце освещало своим холодным, но весёлым светом рощи и опустевшие поля, на которых уже убрали жатву, где летали длинные нити блестящей паутины. Я любила ловить эту паутину, которую мы называли Богородицыными волосами. Я наматывала её на руку и бежала, оглядываясь, смотря, как она расстилается за мной по воздуху, переливаясь серебром на солнышке.

Но настало время, когда нам пришлось прекратить прогулки: пришли серые, ненастные дни. То дождь, то ветер, взметавший жёлтые листья, пасмурное неприглядное небо. Перестали турухтать и ворковать мои перепела и голуби; насупились, взъерошили свои пёрышки и чаще стали прятаться в свои домики, настроенные для них во дворе, от холода и непогоды.

Скоро и нам пришлось попрятаться, -- настала поздняя холодная осень.

Но, до её окончательного наступления, мы сделали ещё раз славную прогулку, почти путешествие. Мы знали, что мама иногда ездит в одно богатое имение Диканьку, откуда привозит всегда чудесные цветы, книги и ноты, и о котором она рассказывала нам много интересных вещей. Мне очень хотелось побывать там, и вот, в ясный сентябрьский день, желание моё исполнилось. Я всегда думала до сих пор, что ничего не может быть богаче и красивей нашего саратовского дома, и рощи на даче. Но, походив с мамой по садам, парку, оранжерее с цветами, подобных которым я никогда не видывала, по великолепным залам, убраным картинами, статуями и зеркалами, по галереям с мраморными колоннами и полами из цветных узоров, -- я увидела, что очень ошибалась, и что такой дом и такие сады мне и во сне не снились!.. Это было имение очень богатых князей, которые этим летом в нём не жили. Особенно любовалась я красивым, пёстрым цветником, разбитым как ковёр турецким узором, прямо перед широким крыльцом, украшенным вазами и вьющеюся зеленью. Из середины цветника высоко бил фонтан, упавая облаком пены и брызг в белый мраморный бассейн.

Пока мама возилась с книгами в библиотеке княгини, ставя на место прочитанные и выбирая новые, я всё стояла на террасе, любуясь цветами и фонтаном. Наконец, я вошла в зал, где меня занял блестящий паркет, отражавший моё белое платье и ноги точно зеркало. Пройдя несколько больших, красивых комнат, я вошла в угловой, небольшой кабинет княгини, весь сплошь обитый чем-то голубым, мягким, точно, как бывают обиты внутри дорогие бонбоньерки, с такою же мягкою голубою мебелью и прелестными вещами по стенам и этажеркам. Большое окно или стеклянная дверь, занимавшая чуть не целую стену, была отворена в сад, а неподалёку от неё стояли мама и Антония, рассматривая у письменного стола какой-то альбом или портфель.

Мамино довольное, улыбавшееся лицо сейчас же привлекло моё внимание; обе они как-то странно улыбались, с любопытством рассматривая картинки в альбоме. Поодаль, в других дверях, стоял благообразный старичок в чёрном фраке, который всё нам показывал, ходя везде с нами!

-- Так княгиня это сама рисовала? -- спросила мама, весело взглянув на старика.

-- Сами-с, -- почтительно отвечал он. -- Они по этому рисунку изволили ещё и другую картинку, немного поболее, нарисовать масляными красками; но только ту они с собою, в чужие края увезли.

-- Много занимается живописью княгиня?

-- Большие охотницы. И всё больше из своей головы. То есть вот, что только прочтут или вздумают, сейчас карандашиком набросают, а после наверх, в мастерскую; возьмут палитру да кисти и другой раз по целым часам и не сходят.

-- Можно видеть эту мастерскую?

-- Отчего же-с? Их сиятельство всё вам приказали показывать. Других мы не смеем до всего допускать: разве что сады, оранжереи там или вот дом... Ну, а вашей милости всё от самой княгини велено: что только будет вам угодно! Книжки, картины, цветы...

Я остановилась среди комнаты и с удивлением смотрела на старика и слушала.

-- Очень уж им понравились книжечки ваши, сударыня! -- продолжал он рассказывать. -- Изволили видеть в библиотеке, в какой богатый переплёт их сиятельство сочинения ваши отделали?.. Бывало, как выйдет что-нибудь новенькое, только и речи у них, что о "Зинаиде Р-вой", -- как вы подписываться изволите. Уж на что мы, слуги даже, бывало за обедом или вечером с гостями, всё слышим о вас да о сочинениях ваших разговор идёт. Так, что и мне, старику стало любопытно: достал я у управляющего журнал, прочёл эту самую вашу "Теофанию Аббаджо", что у них вот тут, на картинке изображена...

-- Qu'est ce qu'il dit?.. [*Что он сказал? - фр.*] -- шёпотом и в величайшем недоумении спросила я Антонию; но она так была занята рассказом старика, что, казалось, не замечала и не слышала меня.

Мама тихо опустила на стол открытый альбом, и я впилась в него глазами.

Там была нарисована какая-то женщина вся в белом с чёрными, распущенными по плечам волосами. Она стояла на высокой скале. Внизу, под скалой было тёмное море, и волны его, и платье, и длинные волосы женщины словно были приподняты и развеяны ветром...

-- Пойдём, Верочка, пора домой! -- сказала Антония и, взяв у меня альбом из рук, закрыла его и пошла из комнаты, вслед за мамой, тихо разговаривая с нею.

Старик шёл вслед за нами. В зале он вынул из воды великолепный букет цветов и подал его маме, сказав, что он нарочно для неё приготовлен.

-- Не угодно ли ещё будет вам захватить корзиночку дюшес и яблок-ренетов с собою, сударыня? -- говорил он, провожая нас на крыльцо. -- Признаться, я всю неделю собирался отослать их вам, да управляющий уезжал на ярмарку: всех почти лошадей забрал, так и не пришлось.

Мама поблагодарила учтивого старичка, и мы уехали.

Не знаю, чем именно я развлеклась в дороге так, что забыла спросить, что говорил он, и какая женщина нарисована в альбоме?.. Только на другой день вечером мне удалось расспросить об этом Антонию.

Новые мысли, новые чувства

Я запомнила этот вечер отлично.

Мы с ней сидели на крыльце нашего дома. Солнце уже садилось, и тёмные тучи, выползавшие ему навстречу, закрыли его от нас раньше времени; солнца не было видно, но кое-где ближние хаты с садами светились яркими пятнами, на синем фоне дали, уже покрытой тенью. Мы только что кончили уроки. Антония села с работой на крыльце, предложив мне поиграть на дворе, но я уселась у ног её и любовалась яркими лучами солнца, расходящимися по всему небу как стрелы из-за тёмной тучи.

-- Погода испортится, конец ясным дням! -- сказала Антония, взглянув туда же. -- Посмотри, какие красивые тучи: точно волны на море.

-- Ах! -- вдруг вспомнила я при этом слове. -- Я хотела спросить вас: что это за картинку вчера вы рассматривали в Диканьке? Какая это женщина на скале у моря?.. И что такое рассказывал вам этот старик?

-- Что он рассказывал?.. Вот видишь ли, ты знаешь, что мама твоя, каждый день почти, по несколько часов пишет у себя в комнате?

-- Да, знаю. Ну, что ж?

-- Ну, то, что она пишет, у неё берут и печатают в книгах... Книги эти -- её сочинения. Она пишет славные вещи, которые всем нравятся. Все их читают, и вот, эта княгиня, хозяйка Диканьки, прочла одно её сочинение и нарисовала к нему картинку.

-- На мамину книгу?

-- Да. Не на всю книгу, -- а на одно место в ней, которое ей понравилось.

-- А какая же это женщина, с распущенными волосами?

-- Та, которой историю мама написала. Её звали **"Теофания Аббаджи"**...

-- Мама её знала? -- прервала я.

-- Нет, мама её не могла знать, потому что её никогда в самом деле на свете не было. Она сочинила её историю...

-- Как сочинила? Как же она могла?.. Почём она знала? И кто же ей поверит? Ведь все могут узнать, что она всё это выдумала!..

-- **Не выдумала**, -- улыбаясь поправила меня Антония, -- а **сочинила**. Это разница, которой ты ещё не можешь понять... Все знают, что она пишет не о живых людях, но она так хорошо о них рассказывает, так верно и живо описывает, что когда её книги читают, то все забывают, что этого, в самом деле, не было.

Я задумалась глубоко и чрез минуту спросила:

-- Ну, а как же эта княгиня могла нарисовать портрет **"Теофании"** -- как её?.. Ведь она же её не видала?

-- Конечно не видала; но представила её себе по мамину рассказу и так её и нарисовала.

-- А если мама скажет, что она её совсем не так нарисовала? Что она не похожа?..

-- Мама этого не скажет! -- рассмеялась Антония. -- Она нарисована так, как мама описала её в книге.

-- А мне можно прочитать эту книгу?

-- Нет, теперь нельзя, потому что ты ничего не поймёшь в ней; но, когда будешь большая, ты непременно прочтёшь всё, что напишет мама.

-- Ах! Как же это она пишет?.. Как бы я тоже хотела уметь!.. Кто же это её сочинения печатает?

-- Печатают их не здесь, в Петербурге. Ты видела большие жёлтые и зелёные книжки, которые к нам с почты привозят?.. Они называются журналами. В них печатают сочинения разных людей и платят им за это деньги.

-- И маме тоже платят деньги?! -- удивилась я.

-- Да. Много денег.

-- Да за что же? Кто ей платит?

Антония, как могла понятней, объяснила мне журнальное дело и прибавила, что платой за то, что она пишет, мама платит жалованье англичанке, учителям и выписывает себе и нам нужные книги...

-- И вам она тоже платит? -- спросила я.

-- Нет, -- покраснев отвечала Антония, -- мне она ничего не платит. Я получаю деньги от царя, а живу с вами потому, что никого на свете так не люблю как вашу маму.

-- А своих родных?

-- У меня нет родных.

-- Как? Неужели никого?.. Ни отца, ни матери, ни братьев, ни бабушки?..

-- Решительно никого... Кроме одного брата, которого я совсем не знаю.

-- Как же можно не знать своего брата? Вот!..

Антония промолчала, а моя мысль перепрыгнула на другой вопрос:

-- А за что же царь вам платит деньги? Он разве вас знает?

-- Какая ты смешная девочка! -- засмеялась она опять. -- Всё тебе знать надо!.. Ну, царь платит мне деньги за то, что я хорошо училась.

-- За то, что вы хорошо учились?.. Вот как!.. А если я буду хорошо учиться, он и мне будет платить?

-- Не знаю! Может быть и будет. Только прежде всего надо начать очень хорошо учиться!.. А теперь, довольно тебе расспрашивать; вот уж совсем темно. Скоро свечи и чай подадут... Пойдём-ка в комнату.

Антония ушла, но я не пошла за нею, а поставив локти на колени и подперев руками голову, глубоко задумалась, глядя в темневшую даль, о своей доброй маме, трудившейся для нас. О том, какая она умная, как это она так хорошо умеет рассказывать о небывалых людях и вещах, что даже **большие** ей верят и думают, будто она правду рассказывает!.. Прежде я никогда не думала о том, чем она занята в своём кабинете. Теперь эти занятия получили для меня особый смысл и интерес, и сама она как будто сделалась другою, -- не только моей мамой просто как прежде, а ещё чем-то новым, другим!.. Чем-то таким особенным, чего я никак не могла объяснить себе, но что заставляло меня смотреть на неё совершенно иными глазами.

С этого вечера я начала часто, подолгу засматриваться на её бледное лицо, с карими чудесными глазами, с ласковой улыбкой. "Отчего это мама улыбается так странно?.. -- думала я. -- Не так как другие: невесело!..

И какие у неё глаза, -- большие да тёмные. И вместе блестящие такие!.. Моя мама -- очень хорошенькая, и я ужасно люблю её!.." -- заканчивала я всегда свои мысли.

Часто мама ловила мой взгляд и рассмеявшись спрашивала, что со мной?.. Почему я так смотрю на неё? Я конфузилась и не знала, что отвечать ей; но всё чаще и дольше за ней наблюдала, и впервые здоровье мамы начало меня беспокоить. Она в шутку прозвала меня своим сторожем... Особенно любила я забираться тихонько в её комнату и приютившись, незамеченная ею, где-нибудь в уголке, следить, как быстро летала её маленькая, беленькая ручка по бумаге. Как она останавливалась, перечитывая листы; задумывалась, рассеянно устремив глаза в одну точку, иногда улыбалась, словно видя что-нибудь пред собою, иногда хмурила свои тонкие брови, и лицо её делалось такое серьёзное, грустное... Она снова бралась за перо и писала не отрываясь, пристально, быстро.

Мне кажется, я только с этих пор начала сознательно любить свою маму. Вообще я очень изменилась в эту зиму. Мне начали приходить в голову новые мысли, я как-то иначе стала относиться ко всему окружающему; чаще задумывалась, старалась вглядываться во всё и прислушиваться внимательнее к разговорам больших. Особенно занимали меня долгие беседы Антонии с мамой, когда они, сидя вечером на мягком диванчике, то поочерёдно читали, то разговаривали о вещах, часто совсем мне непонятных, но которые я старалась понять или дополнять непонятное своим воображением. Я теперь не приставала к Антонии так часто как прежде с расспросами о пустяках; но несколько раз замечала, что мои вопросы приводят её в замешательство. Раза два-три даже случилось так, что она не могла или не хотела мне ответить и отделивалась общим замечанием, что я узнаю обо всём этом, когда вырасту...

-- Да, когда же это будет? Боже мой! Когда же я наконец вырасту, чтоб обо всём говорить и читать, и всё понимать?.. Когда же, наконец, я буду большой?!.. -- восклицала я часто.

И мне искренно казалось в то время, что этого никогда не будет.

Неожиданности

Пришла зима. Занесло, замело все поля, все дороги снегом. Садик наш стал непроходим: только узенькая тропка от нас к хозяйкиной хате была протоптана мимо огорода; деревья стояли мохнатые, опущенные насевшими на ветви хлопьями, а окрестные хутора так осели в рыхлый снег, словно спрятаться в него хотели. Если бы не встрёпанные, голые садики да не сизые дымки по утрам, дальних деревень нельзя было бы и отличить... Заперлись, за конопатились окна и двери, затрещал яркий огонь в печках; пошли длинные-длинные вечера, а серые деньки замелькали такие коротенькие, что невозможно было успеть покончить уроков без свечей.

До самых рождественских праздников я не запомнила ни одного случая, который бы сколько-нибудь нарушил однообразие нашей жизни. Перед Рождеством папа ездил в Харьков и навёз оттуда всем подарков и много чего-то, что пронесли к маме, в комнату под названием кухонных запасов. Занятые своими книжками с картинками, мы не обратили на это никакого внимания.

Вечером нас позвали в гостиную, где мы увидали, что все собрались при свете одной свечи, и ту папа задул, когда мы вошли.

-- Что это? Зачем такая темнота? -- спрашивали мы.

-- А вот увидите, зачем! -- отвечала нам мама.

-- Не шевелись! -- сказала Антония, повёртывая меня за плечи. -- Стой смирно и смотри прямо перед тобою.

Мы замерли неподвижно в совершенном молчании... Я открыла глаза во всю ширину... но ничего не видала.

Вдруг послышалось шуршание, и какой-то голубой, дымящийся узор молнией пробежал по тёмной стене.

-- Что это? -- вскричали мы.

-- Смотрите! Смотрите, какой у мамы огненный карандаш! Что она рисует!.. -- раздался весёлый голос папы.

На стене быстро мелькнуло лицо с орлиным носом, с ослиными ушами... Потом другой профиль, третий... Под быстрой маминой рукой змейками загорались узоры, рисунки...

-- Читайте! -- сказала она.

И мы прочли блестящие, дымившиеся, быстро тухнувшие слова: "Лоло и Вера -- дурочки!"

-- Ну вот ещё! -- с хохотом закричала Лёля, бросившись к маме. -- Покажите, мамочка! Что это такое?.. Чем вы пишете?

-- А вот чем! -- сказала мама и, чиркнув крепче по стене, зажгла **первую** **виденную нами фосфорную спичку**.

Серные спички явились в России в начале сороковых годов. Ранее того огонь выбывали кремнем.

-- Что это за палочки такие? Отчего они горят? Зачем они?..

-- Затем, чтобы не бегать на кухню за огнём, а всегда иметь его под рукою.

И мама зажгла свечу, стоявшую на фортепиано.

Мы продолжали стоять смирно и, раскрыв рты от удивления, смотрели на пламя свечи, ожидая, что и с ней сейчас произойдёт что-нибудь необыкновенное; но видя, что она горит себе как всякая другая, огорчились и стали просить ещё огненных рисунков. Но мама сказала, что "хорошенького понемножку", что это опасная игра, и для того, чтобы мы сами не вздумали повторять этих опасных опытов, благоразумно спрятала спички в свою шкатулку.

Наступил канун 1842 года.

Скучный, пасмурный, грустный канун!.. Почти с самого утра мы всё были одни: мама -- сказали нам, -- нездорова, и зная, что она часто не выходит из спальни, когда больна, мы несколько не удивлялись ни тому, что Антония целый день от неё не отходила, ни даже тому, что отец почти не показывался. Он только пришёл, когда мы обедали втроем с мисс Джефферс; поспешно съел свой борщ, посмотрел на нас через очки, улыбаясь, ущипнул меня за щеку, пошутил с Лёлей и ушёл, сказав, что ему некогда.

После обеда мисс Джефферс исчезла тоже.

Мы с Лёлей уселись смирно в полутёмной комнате, вспоминая с затаёнными вздохами о наших прошлогодних праздниках, о подарках бабушки, о чудесной ёлке Горова, и недоумевая, сделают ли в Саратове без нас ёлку или сочтут Надю слишком большой для этого...

За окном, в жёлтом сумраке, быстро, частой сеткой, мелькали снежные хлопья, и ветер уж начинал подвывать в трубах свою тоскливую, ночную песню.

Не только я, но даже беззаботная, всегда весёлая Лёля присмирела. Мне же было очень жутко и тяжело на сердце...

Вдруг отворилась дверь, и вошла Аннушка с Леонидом на руках, а за нею -- её толстая сестра, Марья, жена папиного денщика Воронова, наша ключница и швея. Они обе улыбаясь, сели у стенки, поглядывая то на нас, то на дверь, -- словно ожидая чего-то. Мы ещё ни о чём не догадывались. Я только успела обратить внимание на великолепный расписной пряник, который наш рыжий толстяк держал в пухлых ручейках, обсасывая с него сахар, когда снова отворилась дверь, и мамина горничная, Маша, вошла с ещё более весёлым липом.

-- Барышни! -- сказала она. -- Идите скорее! Вас маменька к себе зовут!..

-- Ах!! -- вскрикнула тут Лёля, хлопнув себя по лбу. -- Я знаю зачем!..

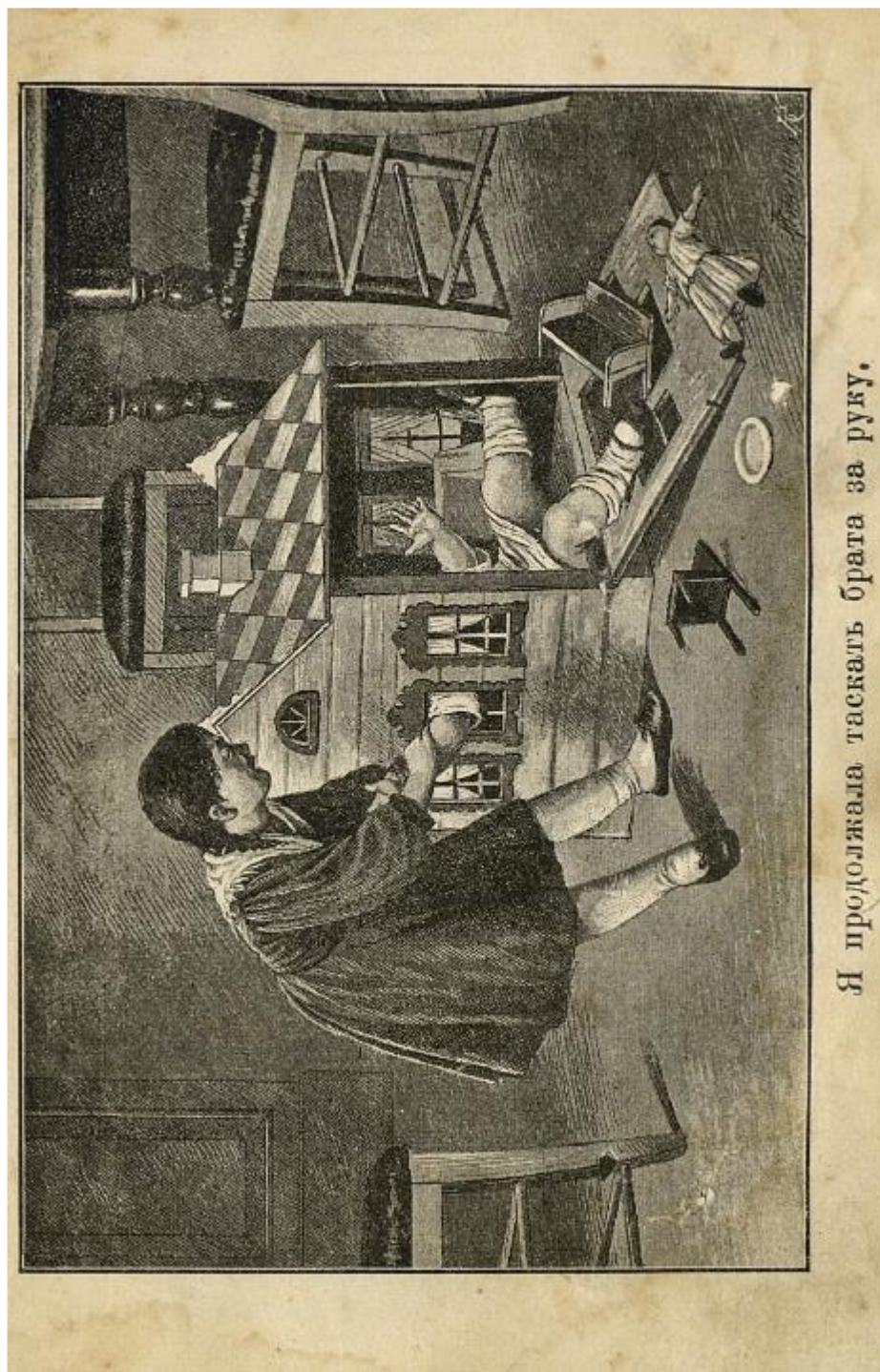
И выпрыгнув за дверь, она бросилась к маминой комнате. Я, разумеется, за ней, но только добежав до порога спальни, поняла в чём дело. Совсем неожиданная, разукрашенная ёлочка блистала огнями среди комнаты. Под нею лежали игрушки, а вокруг стояли мама, Антония, папа, мисс, и все улыбались, очень довольные, что целый день провозившись с ёлкой, нас так искусно обманули.

Я и рассказать не могу, как обрадовалась! Для меня тут был большой деревянный кукольный дом с тремя или четырьмя комнатами, меблированными и украшенными очень красиво. Папа с мамой целую неделю его оклеивали и убрали гостиную, спальную и кухню.

Над ним была красная, высокая, как следует, крыша, с трубами, а в комнатах сидели и стояли разные куклы. Меня особенно занял лакей-араб в красной куртке, который подавал на подносе чай барыне, сидевшей на диване. Мама отлично сделала этого араба: она ему вышила красные губы, белые глаза, с чёрными бисеринками вместо зрачков, а из шерсти -- чёрные, курчавые волосы. Другие куклы тоже были все маминой и Антоньиной работы и очень нарядно одеты.

Я заглядывала на них в двери и окошки, удивляясь, как это их могли там рассадить, когда папа, подойдя, приподнял немного крышу и опустил всю переднюю стену моего дома, так что он сразу открылся сверху и с главного фасада. Увидав такой широкий вход в мой дом, Лида начал к нему тянуться, капризничать и кричать до тех пор, пока его не усадили в главной гостиной, где он сейчас же начал так бесцеремонно хозяйничать, что привёл меня в отчаяние!.. Хорошо, что мама успела вытащить его оттуда, уговорить и забавить какою-то другой игрушкой.

Что случилось в кукольном доме



Я продолжала таскать брата за руку.

Но, к его несчастью и великому моему горю, негодному мальчишке понравилось, вероятно, помещение в моём доме. Через несколько дней, войдя в комнату, где стоял мой дом, я услышала в нём необыкновенные шум и движение. Бросившись к нему, я увидела в окно, что Леонид Петрович сидит там, поджавши ноги, с карандашом в руках и во всю мочь разрисовывает пол, потолок и стены, не жалея ни картин, ни обоев.

Кто посадил его туда и закрыл за ним доску?

-- Не знаю, но, дело в том, что, увидав его злодеяния в моём парадном зале, я пришла в такую ярость, что совершенно забыла об этой открывающейся стене, а поймав его за руку в одно из окон, ну тащить его оттуда и таким образом таскать его вместе с домом по всей комнате!..

На наш крик, слёзы и шум сбежался весь дом. Я, вся красная, выбившись из сил, продолжала таскать брата за руку, выходя из себя, что не могу его вытащить чрез крошечное оконце кукольного дома; он, несчастный, опрокинутый внутри своего тесного помещения, с рукою, вытянутой чуть не до вывиха, бился о стенки моего зала и кричал изо всех сил... С трудом поняв, в чём дело, разняли нас и, вынудив его, злополучного, избитого, красного как рак, из сильно попорченного им кукольного помещения, уняли его крики и усмирили нас обоих.

-- Верочка! Что с тобою случилось? -- с удивлением говорила мама. -- Злая девчонка! Я не ожидала от тебя такого ребячества и злости!..

Я сама никак не могла понять, как это случилось? Чтоб я, такая "благоразумная" девица, могла так рассердиться на маленького брата?.. Когда я увидала несчастное лицо нашего бедного толстяка, долго не перестававшего жалобно всхлипывать, его измученную, красную ручонку, синяки на лбу его и вспухшие щёки, мокрые от слёз, мне стало очень стыдно и жаль братишки; но я сейчас же постаралась скрыть эти добрые чувства.

-- Allez dans votre chambre, mauvaise petite fille! [*Иди в свою комнату, скверная девчонка! - фр.*] -- сердито сказала мне Антония. -- Maltraiter ainsi son petit frère, pour un joujou! [*Это жестоко, так обращаться с маленьким братом из-за игрушки! - фр.*]

-- Да! -- проворчала я, глядя на неё исподлобья. -- Зачем он испортил мой дом?

-- Важность какая! Тебе игрушка дороже брата?.. Поди в свою комнату сейчас и не смей выходить оттуда! Я не хочу тебя видеть, и ни я, ни мама тебя больше не любим!

Я пошла с горьким чувством на сердце, изо всех сил стараясь сдержать слёзы, чтоб не показать своей **слабости**... "Вот ещё! Пускай лучше думают все, что мне **всё равно** и совсем не жаль Лиду!.." -- со злостью думала я. Я постаралась придать своему лицу самое сердитое и даже насмешливое выражение и уселась в своей комнате на окно. Но мне скоро стало очень скучно... Я сначала надулась и, наконец, не совладав с собой, горько заплакала.

-- Voilà qui est bien mieux que de boudier! -- заметила мне мимоходом Антония. -- Гораздо уж лучше плакать, чем злиться.

Я ещё пуще залилась слезами, и вдруг мне показалось, что я такая бедная, такая несчастная, что другой такой и на свете нет горькой девочки!.. В самом деле! Меня же обидели, меня же наказали и моим же слезам радуются!

"Хорошо же! -- Пускай радуются, я буду плакать. Я буду так плакать, что заболую! Пускай тогда радуются моей болезнью... Я, может быть, так сильно заболую, что даже умру!.. Что же такое? -- Пусть умру!

Я очень рада!.. **Тогда** все они узнают, какая я несчастная была. Соберутся все вокруг меня и будут жалеть, и вспоминать, и плакать!.. Будут хвалить меня и раскаиваться, -- да уж не помогут!.."

От этих мыслей я плакала всё сильнее и сильнее.

Мне представились мои собственные похороны и горе моей бедной мамы, и всеобщее удивление, и жалость, не столько о смерти моей, как о всём том, что я **вытерпела**, как страдала, обиженная всеми!..

Вся эта трагедия представилась мне так ярко и живо, что я не могла вытерпеть и, рыдая, высказала в несвязных словах своё горестное будущее.

-- Хорошо, хорошо! -- бормотала я. -- Браните меня... Вы, может быть, раскаетесь, когда будет поздно...

-- Не мне, а вам надо раскаиваться, злая девочка! -- хладнокровно возразила Антония, и её жестокосердие окончательно меня возмутило.

-- C'est bien! [*Это хорошо! - фр.*] -- опять повторила я угрожающим и вместе таинственным голосом, -- когда я, может быть, скоро умру, вы этого не скажете!

К величайшему моему негодованию Антония засмеялась.

-- Когда вы умрёте? Ну, будем надеяться, что до тех пор ты ещё успеешь исправиться!.. От злости, мой дружок, не умирают. Если же ты умерла бы теперь, такую злою, то это было бы очень для тебя худо! Злых детей, поверь мне, не любят ни люди, ни Бог.

-- Бог видит, что я не злая, а несчастная! -- с убеждением возразила я.

-- В самом деле? -- опять засмеялась Антония. -- Оттого, что от злости чуть не вывихнула брату руки?

Вдруг Антония взглянула на меня сурово и, переменяя тон, заговорила очень серьёзно:

-- Ты должна стыдиться себя! Я считала тебя умной и доброй девочкой, а ты вдруг делаешь и говоришь такие глупые и злые вещи!.. Это стыдно и грешно. Благодарю лучше Бога за то, что всё обошлось благополучно: ты могла убить бедного маленького брата. Вот тогда бы ты была действительно несчастна! И на всю жизнь. Слава Богу, что мы прибежали вовремя!.. А теперь, вместо того, чтоб стараться загладить своё поведение, ты ещё продолжаешь злиться и выдумывать пустяки?.. Несчастные дети на тебя не похожи, дружок мой: они не смеют злиться, ворчать и тем более обижать кого-нибудь, как ты сейчас обидела Лиду. Напротив, их все обижают и бьют безнаказанно.

Антония замолчала, задумавшись о чём-то. Я тоже притихла, чувствуя, что она права.

-- У тебя есть мать, родные. Все тебя любят и берегут, -- через минуту заговорила она, -- какая же ты несчастная?.. А есть на свете такие несчастные дети, которые никогда не видят ласки и рады-радешеньки, когда их только не обижают. Я не считаю себя особенно несчастной, а сколько натерпелась, когда была твоих лет!.. Не дай Бог тебе и в половину столько видеть горя. Семи лет я уж прислуживала всем в доме и чуть бывало не ужоу, так голова потом целый день болит от щипков да пинков. А я даже и плакать не смела, не то что жаловаться!

-- Кто же вам мог помешать? -- спросила я как будто совсем равнодушно, но в самом деле сильно заинтересованная.

-- Убеждение, что, если я посмею жаловаться, меня побьют ещё сильнее.

-- Кто же смел вас бить?.. Разве мать ваша была такая злая?..

-- У меня не было матери. В том-то и было самое большое моё несчастье!..

-- А отца? Где же был ваш отец?

-- Отец мой был вечно болен и слишком занят службой, чтоб знать, что делается в семье. А мачеха меня терпеть не могла...

-- Эти мачехи всегда злые как ведьмы!

-- Нет, это вздор! Ты в сказках об этом начиталась; а мачехи бывают очень хорошие, добрые женщины. Моё горе было в том, что моя мачеха была грубая женщина, почти мужичка; она считала любовью к своим детям страшнейшее баловство, а мне не могла простить, что отец меня любил наравне с её детьми.

-- Вот славно любил! -- воскликнула я с негодованием. -- Какая же это любовь, когда он позволял так обижать вас?..

-- Он не знал этого. При нём мачеха удерживалась и старалась быть справедливей. А я так её боялась и жалела отца, что никогда не хотела ему рассказывать. Когда он умер, мне стало ещё хуже! Меня уж совсем обратили в служанку. Одевали в такие грязные тряпки, что мне самой себя было стыдно и гадко, а зимой я мёрзла от холода. Я должна была каждое утро приносить воды из колодца для всего дома: это была самая тяжёлая работа для меня зимою, пока я не привыкла, оттого, что башмаков у меня никогда не было, кроме стареньких сестриных, которые мне едва лезли на ноги, потому что она была на три года моложе меня. По утрам, бывало, бегу я во всю мочь по снегу или по замёрзшей грязи через двор за водою; а у колодца, пока вода наберётся, прыгаю, прыгаю с одной ноги на другую, оттого, что пятки мне мороз словно огнём жжёт... Прибегу с ведром вся синяя, трясусь, так что зуб на зуб не попадёт, и должна в комнатах выметать, прибрать всё, приготовить сёстрам и братьям одеться, помогать их мыть, чаем поить. А потом опять бежать на мороз, за водою или в лавочку за чем-нибудь, мачеха пошлёт.

-- А вам чаю? -- прервала я.

-- Ну, и мне иногда давали; только мне было мало времени думать о нём, потому что дела было много... То той, то другой сестрёнке моей что-нибудь понадобилось; то братья кричали и звали меня на помощь. Кроме меня была у нас одна только старая, полуслепая кухарка. Она меня любила и жалела, только не могла ничем помочь, разве что воду за меня иногда набирала.

-- Я бы на вашем месте всех этих ваших сестрёнок и братьев колотила! -- злобно заметила я, сделав жест так, словно крепко, с особенным удовольствием, щиплю кого-нибудь.

-- Вот, славно было бы! -- возразила Антония. -- Чем же они-то были виноваты, бедные дети? Они и сами много терпели от нашей бедности и от грубости своей матери.

-- Vilaine diablesse! [*Гадкая дьяволица!* -- фр.] -- вскричала я, не справясь со своим негодованием.

Антония улыбнулась.

-- Fi! Quel vilain mot! [*Фи! Что за гадкое слово!* -- фр.] -- сказала она. -- Où l'avez-vous entendu? [*Где ты это услышала?* -- фр.] Не надо говорить дурных слов, тем более, что они никогда ничему не помогают.

-- Где же теперь они все?

-- Мачеха и сёстры, и один брат мой умерли, все в один месяц, от холеры. А меньшей брат мой живёт со старшим, с моим родным братом, доктором, в Петербурге и учится там.

-- А как же вы, как-то, говорили, что у вас нет родных? Вот есть же брат?

-- Есть, но я почти его не знаю... Раза два-три только видела в институте.

-- А кто же вас отдал в институт?

-- Я сама не знаю! -- засмеялась Антония. -- Господь Бог верно!

-- Как Господь Бог? Как же это? Расскажите, пожалуйста! -- пристала я, совсем забыв своё горе и слёзы.

-- Ma chère amie [*Мой милый друг* -- фр.], -- отвечала Антония, -- это длинная и грустная история! Лучше я расскажу её тебе в другой раз.

Но я так начала просить и умолять её не откладывать, -- рассказать мне всё, сейчас же, что Антония не могла отказать мне и в тот же вечер рассказала всю свою историю.

Рассказ Антонии

-- Ну, вот видишь ли, -- начала она, сложив своё шитьё, потому что уже стемнело, и принимаясь за чулок в то время, как я устроилась на любимое своё место на скамеечке у её ног, -- я тебе ещё не сказала, что мы жили, когда я была ребёнком, в маленьком городке, в Финляндии. Моя мать была дочь пастора; а отец служил на русской службе, помню, как сквозь сон, что я с братом, который лет на пять старше меня, были очень счастливы, пока была жива мать моя, и жили хорошо, потому что она была отличная хозяйка и помощница во всём отцу. По утрам, пока он был на службе, к нам приходило много девочек и мальчиков, и мама учила до самого обеда, а после обеда переписывала для отца нужные бумаги или садилась шить что-нибудь, пока мы играли тут же возле неё.

Летом, я помню, часто ходили мы на большое озеро, недалеко за городом. Отец любил удить рыбу. Иногда он брал и нас с собою в лодку и катал по гладкому озеру. Я очень боялась, когда брат купался и заплывал слишком далеко в озеро. Мы, сидя с матерью на берегу под высокой скалою, далеко-далеко врезывавшейся в воду, кричали ему и делали знаки, чтоб он вернулся, не плыл дальше; но он часто не слушался нас, и тогда я принималась плакать и со слезами кричать отцу, что Эрнест тонет. Отец только смеялся и называл меня трусихой. Он говорил, что мальчику надо быть храбрым, уметь плавать, стрелять и управлять лодкой, и что нечего за него бояться.

Но раз, в воскресенье, мы отправились после обеда на озеро; отец сел в лодку и, по обыкновению, взял вёсла, поставив Эрнеста у руля, а я с матерью остались на берегу. Она села в тени нашей скалы, а я принялась искать разноцветные камешки, раковины и мох, которого очень много росло в расщелинах скалы, кругом озера. Он был разных сортов и теней с мелким белым и розовым цветом. Я любила играть им, устраивая сады, беседки и красивые узоры из цветных ракушек. В этот раз я так занялась игрою, что забыла обо всём, как вдруг меня перепугал громкий крик матери, которая в ту же минуту пробежала мимо меня с протянутыми вперёд руками, точно хотела сама броситься в воду. Я вскочила и в страхе смотрела на озеро... Там, далеко от берега виднелись две лодки; одна, в которой плыл отец, а другая меньше, рыбацья лодочка с белым парусом. Но не туда смотрела мать, а мимо, в другую сторону, где я ничего не могла сначала рассмотреть, потому что солнце ослепительно блестело, переливаясь золотыми струйками по мелкой, расходящейся ряби. Хотя сердце у меня крепко билось, но я ничего не могла понять, пока не разобрала отчаянных криков матери: "Эрнест! Эрнест!.. О, Боже мой, Боже мой!"

Тогда я тоже принялась кричать и плакать, зовя брата, и тут только заметила в середине солнечного отражения что-то чёрное, мелькавшее из воды. Оно вынырнуло раз... другой... и потом исчезло в глубине...

В эту минуту мы заметили, что отец изо всех сил поворачивает лодку и гребёт в ту сторону; но маленькая рыбацья лодка была ближе к месту и неслась тоже туда, совсем пригнувшись белым, раздутым парусом к воде.

В нескольких саженьях оттуда человек, в ней сидевший, закричал что-то отцу, чего мы не слышали, прыгнул в воду и исчез... Долго ли он искал брата, и как он спас его, -- не знаю! -- но только дело в том, что Эрнест непременно бы погиб, если б не он. В том месте, где он пошёл ко дну, был сильный водоворот, и надо было быть очень искусным и сильным пловцом, чтоб избежать самому опасности и вытащить другого.

Этот человек сделал это. Он был здоровый и сильный рыбак, почти выросший на воде, знавший все опасные места в нашем озере так же хорошо, как углы своей хижины, стоявшей на другом берегу. Туда они повезли брата, и туда побежали и мы с бедной моей матерью, почти обезумевшей от страха и горя. Господи! Как мы были счастливы, когда, прибежав усталые, едва не падая, мы увидели брата, хотя очень страшного, но всё-таки живого! Мать моя едва не упала без чувств от радости и счастья!.. Она не знала потом, что делать, бросалась к Эрнесту, к отцу, к рыбаку, его спасшему, к сестре его, всех обнимая, плача и смеясь в одно время!.. Когда мы добежали до хижины, Эрнест только что пришёл в себя. Его долго откачивали и оттирали на берегу, прежде чем он очнулся. Слава Богу, что бедная мать не видала его в таком состоянии! Она не знала, как благодарить рыбака... Когда, вскоре потом, его сестре понадобилось идти в услужение, мать с радостью взяла её к нам, в няньки, и, хотя скоро увидела, что она -- ленивая и капризная девочка, но не решалась отказать ей от места, из благодарности к её брату. Эта девушка и сделалась потом нашей мачехой...

-- Как? Этой скверной?.. -- невольно прервала я Антонию.

-- Да, она была дурная женщина, а, главное, глупая и грубая...

-- Как мог отец ваш на ней жениться?

-- Что же делать? Он не знал её... Когда мать умерла, эта Ида была у нас в доме всем на свете: она смотрела за нами, хозяйничала, казалось, любила нас, пока у неё не было своих детей. Отец думал, что нам будет хорошо, если он на ней женится. Но вышло не так. Брата спасли его года; он в первое же время возненавидел мачеху, стал ужасно грубить ей и упрекать отца. Она не смела при нём обращаться со мной слишком грубо... Но он скоро уехал к деду нашему, пастору, который в это время жил уже в Петербурге, а потом поступил там в училище и больше не возвращался домой. Тут, года через три, умер отец, и за меня уж совсем не было кому заступиться; так что верно я так бы и осталась на всю жизнь горничной-замарашкой, если б сам Бог надо мной не сжалился.

-- Как же это? Душечка, расскажите! -- не могла я снова не прервать её.

-- Да я же и рассказываю! -- улыбнулась моему нетерпению Антония. -- Не знаю, по просьбе ли отца или сам от себя, только дедушке моему удалось записать меня кандидаткой на казённый счёт в Екатерининский институт. Но дело в том, что таких кандидаток как я там было, конечно, несколько сот, а потому попасть в институт всем было очень трудно. Такое уж мне счастье Бог послал... Мне было тогда десять лет, и жила я уж не у мачехи, а у кистера той церкви, где дедушка был когда-то пастором...

-- Как это?.. Отчего?

-- Так. Раз зимою, в очень холодный и бурный вечер, мачеха так рассердилась на меня, что выгнала на улицу, совсем забыв, верно, что в такой холод я могла замёрзнуть. Дело было в том, что меньшой брат, тот самый, что теперь учится в Петербурге, любимый сын мачехи, опрокинул стол с целым столовым прибором. Это бы ещё ничего, если б он только разбил всё и пролил, но вместе со столом полетела на пол кастрюля с горячим картофелем и сильно ушибла и обожгла его, облив остатком кипятку. На ужасный стук и крик бедного мальчика вбежала мачеха и, не разобрав в чём дело, сгоряча прямо накинулась на меня, которой дети были, по обыкновению, поручены. Она кричала, что это я во всём виновата, что я это сделала нарочно, со злости обварила ребёнка; жестоко меня избила и, когда я стала пытаться оправдать себя, едва открыла рот -- она пришла ещё в большую ярость и, не помня себя, вытолкала меня из сеней на улицу и заперла дверь на ключ.

Мороз был крепкий!.. Я была совсем как помешанная от испуга и побоев и, сама не знаю зачем, побрела под снегом и ветром, куда глаза глядят...

На мне было одно старое, дырявое платишко, но я не чувствовала холода, хотя, вероятно, тряслась и коченела, сама того не замечая. Я шла до тех пор, пока не упала обессиленная возле какого-то порога.

Случай ли или старая память прошлых посещений дедушки, только я забрела на церковный двор, где жил он когда-то, и упала у кистерова домика. Наш кистер, -- это всё равно, что дьякон, -- был славный старичок, служивший ещё у дедушки и знавший мою мать ребёнком. Возвращаясь в этот вечер домой, он ужасно удивился, наткнувшись на меня, а когда меня внесли в комнату, и он меня узнал, то страшно испугался. Меня отёрли снегом, уложили в постель и напоили чем-то горячим; а когда я на другой день совершенно опомнилась и рассказала всё, прося и моля со слезами, чтоб меня не отсылали опять к мачехе, то эти добрые люди сами плакали надо мною и, как ни были бедны, решились оставить меня у себя и обо всём написали дедушке.

Так я у них и осталась... Хотя мачеха несколько раз присылала за мной старуху кухарку и уверяла, что хотела только попугать меня, тотчас вышла за мною сама на улицу и посылала меня искать везде в тот же вечер, -- но добрая кистерша не отдала меня. Мачеха грозила, что будет жаловаться, насильно вытребуется меня к себе; а они ей отвечали, что объявят начальству о её жестоком обращении со мной, о том, что она едва не уморила меня, выгнав ночью на мороз!.. Так оно и осталось, потому, верно, что она сама боялась огласки... Только добрая старуха Катерина, наша кухарка, ушла от неё тогда же, побранившись с нею из-за меня, и так как мачеха почти ничего не могла платить, то и осталась, бедная, совсем без прислуги, с тремя детьми.

-- Вот ещё: **бедная!** Есть кого жалеть! -- вскрикнула я.

-- Конечно, бедная, -- спокойно повторила Антония. -- Она тоже была очень несчастна.

Весною добрый старик кистер получил от деда деньги, чтобы отправить меня к нему, вместе с уведомлением, что мне посчастливилось в баллотировке, что я принята за казённый счёт в институт. Они все радовались и поздравляли меня; а я хоть и боялась немножко, не понимая, куда меня повезут, и что со мной будет, но была счастлива тем, что увижу деда и избавлена навсегда от мачехи. Какой-то купец, ехавший в Петербург, взялся довезти меня, и я скоро отправилась...

Перед отъездом я ходила прощаться с братьями и сестрой и очень плакала, потому что их я очень любила и жалела... Не знала я, что больше никогда не увижу двоих из них: в то же лето пришла страшная холера, и они умерли, вместе со своей матерью. Брат её, рыбак, взял меньшего сына её к себе, а несколько лет спустя отправил его к Эрнесту, который тогда уже был на службе.

-- А вы? -- спросила я.

-- Я была в институте и, так как брат был очень занят, то я почти их никогда не видала.

-- А когда вышли из института?

-- Когда вышла, меньшой брат был в школе, а старший совсем уехал из Петербурга. Я поступила к гувернантке к одной даме, с которой и приехала три года назад в Полтаву... А там познакомилась с твоей мамой и вот, теперь, сижу с маленькой, злой дурочкой и по её капризу вспоминаю старину!

-- Ну хорошо! А Катерина же, что? Старый кистер? -- не унималась я.

-- Кистер и Катерина уж, верно, давно померли, потому что были очень стары. Я ничего не знаю о них теперь...

-- Как жаль!..

-- Очень жаль. Но отчасти и хорошо: пора идти к маме, а ты потребовала бы и их историю, если б я её знала! -- засмеялась Антония.

-- Да! А за что же Царь вам деньги платит? -- спохватилась я.

-- Я уже сказала: за то, что я хорошо училась! Я должна была получить награду, золотой шифр, и Государь Николай Павлович, приехав сам на акт в институт, подозвал меня, говорил со мною, спрашивал: кто мои родные? Что я думаю делать по выпуску из института? И, узнав, что я сама не знаю, что, потому что ни родных, ни состояния никакого не имею, Он расспросил ещё начальницу и приказал во всю мою жизнь выдавать мне пенсioen в 120 р. с. в год или оставить пепиньеркой в институте, если я захочу... Я захотела прежде попробовать на свете счастья и, вот видишь, -- нашла его! Вожусь с несчастной девчонкой, которая думает, бедняжка, что несчастнее её и на свете не может быть ребёнка!..

-- Нет, душечка! -- бросилась я на шею к своей милой, доброй Антонечке.

-- Это я всё глупости говорила! Я, слава Богу, очень-очень счастлива!

-- А когда так, так пойдём от радости, в столовую, напьемся чаю да кстати узнаем, зажила ли Леонидова ручка и нельзя ли, как-нибудь, поправить беды, которые он наделал в кукольном доме?..

Мамино пение

В эту зиму мама так часто болела, что ей не позволяли доктора так много заниматься, как она любила. Чтобы её оторвать от дела и сколько-нибудь развлечь, папа, наконец, собрался съездить к своим родным в Курск. Наша **новая** бабушка жила там в деревне у своей дочери. Разумеется, она хоть и очень была к нам ласкова, также, как и новые тёти, но у нас к ним не явилось и тени тех чувств, какие мы имели к маминим родным. Мы слишком недолго у них прогостили да к тому же инстинктом чуяли, что эти новые папины родные стараются показать нам ласку и любовь, а не просто любят как дорогая наша "бабочка" и "папа большой".

Мы, разумеется, в то время не могли понять, что эта бабушка нас впервые видит; от сына отвыкла, а маму нашу почти не знает...

Впрочем, Лёля скоро подружилась с двоюродными братьями и сёстрами и весело бегала с ними по всему дому; но я как приехала, так и уехала от родных совсем чужою. Глядя на бабушку Лизавету Максимовну Васильчикову, весёлую, нарядную старушку, очень ещё красивую и живую говорунью, я поняла, в кого у Елены такие курчавые, белые волосы!.. Она и лицом, и живостью походила на бабушку.

Возвращаясь домой, мы опрокинулись в глубокий снег. Всё перевернулось в нашей кибитке, и меня так завалило подушками и поклажей, что папа насилу нашёл и откопал меня. Все испугались, не ушиблена ли я? Но только была перепугана, но совершенно невредима.

Испуг ли на неё подействовал, или простудилась мама в дороге, но только что мы вернулись домой, она слегла в постель. Послали в Харьков за доктором, который уже раз или два приезжал к маме. Он покачал головою, сказал, что маме нужно лечиться серьёзно и звал её переехать в город. Но когда он уехал, мама сказала, что ни за что не переедет в Харьков; а уж если будет нужно, то она весной лучше съездит полечиться в Одессу.

Через недельку мама встала скоро и, по-видимому, совершенно оправилась. Я ужасно радовалась её выздоровлению и по-прежнему начала наблюдать за её занятиями и долгими беседами с Антонией.

Все удивлялись моей перемене в течение этой зимы: говорили, что я вдруг сделалась такая тихая и серьёзная, совсем как большая. Мне шёл седьмой год, и я помню, что действительно с этого времени перестала быть совсем ребёнком и часто думала о вещах, которые прежде мне и в ум не приходили.

Мне очень нравилось по вечерам, незаметно присев где-нибудь в уголке, слушать чтение больших и не подозревавших о моём присутствии и выводить свои заключения. Папа иногда пристраивался также к большому столу и слушал, рисуя пресмешные карикатуры или лошадей и пушки, а иногда и портреты своих знакомых, которые у него тоже всегда выходили очень смешные, хотя и похожи. Но чаще случалось, что его не было дома. Лёля готовила уроки или занималась с мисс Джефферс. У меня же по вечерам занятий не было, и потому я всегда присаживалась к Антонии и маме.

Но больше всего на свете я любила слушать мамину игру на фортепиано и пение. Чем бы я ни занималась, едва, бывало, заслышу стук крышки на рояле, я всё бросала и бежала в зал. Там я забивалась за дверь, за печку, куда-нибудь в уголок, где бы мне не мешали, и откуда бы я могла хорошо видеть её лицо, и вся превращалась во внимание и слух. Мне казалось, что никто в мире не может петь как моя мама, и никого нет красивей, чем она, на свете.

Помню, раз вечером на дворе бушевала метель, вьюга завывала, и ветер засыпал наши окна мёрзлым снегом. В углу топилась печка; дрова трещали, и ярко вспыхивало пламя, освещая комнату неровным светом. Мама давно, с самых сумерек, тихо ходила по комнате, а Антония сидела на диване и вязала чулок, бряцая спицами в полутьме. Я смиренно сидела у ног её, на ковре, положив голову к ней на колени, следя за всеми движениями мамы: за игрой света на лице её и яркой полоской, перебегавшей по низу платья её каждый раз, как она проходила мимо дверной щёлки из ярко освещённой комнаты Лёли.

Мама вдруг остановилась и, взяв на рояле аккорд, сказала:

-- Вот когда "Бурю" хорошо спеть!

И она села к роялю. Я насторожила уши.

Мама прежде сыграла что-то такое грустное, тихое; потом запела:

"Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То как зверь она завоет,
То заплачет как дитя!.." [*]

[*] - А. С. Пушкин *"Зимний вечер"*.

Я вслушивалась жадно в пение её и в чудесные слова. Когда она дошла до того места, как старик в ветхой, тёмной избушке просит старушку спеть ему песню:

"Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой по утру шла!.."

Я, от восторга, едва усидела на месте! Так и хотелось броситься маме на шею и крепко расцеловать её... если б только возможно было это сделать, не помешав её чудному пению. Сладко звучал мамин голос, прерываемый только завываниями ветра, будто бы вправду шатавшего нашу избушку, то жалобно плача как дитя, то завывая как дикий зверь...

Бедная лачужка "стариков", их одинокая, печальная жизнь; приунывшая за веретеном своим старушонка и старик, выпрашивавший со скуки песню, так живо мне представились; мне так стало их жалко, что я слушала, слушала и вдруг... горько заплакала.

Мама обернулась, удивившись, и, увидав, что я плачу, подошла ко мне, встревоженная.

-- Ничего, душечка мама! -- сквозь слёзы говорила я, досадуя на себя за то, что глупым своим беспричинным плачем прервала её пение. -- Пойте! Пожалуйста, пойте дальше!.. Это так хорошо! Я ведь ничего!.. Только жаль!.. Старички эти бедные!

-- Ах, ты дурочка маленькая! -- удивилась ещё больше мама.

Она села на диван, взяла меня к себе на колени и ласкала меня, улыбаясь и утешая тем, что "старичкам", напротив, очень весело, -- что они поют песни и пиво пьют из кружки. Я уж и сама смеялась и только упрашивала маму продолжать. Но она сказала:

-- Нет, на сегодня довольно с тебя! -- и обернувшись к Антонии, тихо прибавила. -- Je vous demande un peu!.. Qu'en dites vous? Ce sont les nerfs, Dieu me pardonne!.. [*Я попрошу вас немного! ... Что скажете? Это нервы, прости меня Господи!.. -- фр.*]

Тут принесли несносные свечи, и, сколько я ни упрашивала, мама не стала больше петь в этот вечер.

Опять в Одессе

Ещё снег не совсем стаял; была серая, мокрая, холодная весна, когда мама собралась ехать в Одессу. Мы: дети, обе гувернантки, Аннушка с Машей, даже повар Аксентий -- все уезжали. Бедный папа опять оставался один со своим усатым денщиком Вороновым да толстой женой его Марьей. Но в то время я совсем его не жалела, радуясь, что еду в красивую Одессу, увижу опять море и, что в особенности меня занимало, увижу дом, где я родилась! Мне казалось, что этот дом никак не может быть обыкновенным домом; а непременно какой-нибудь особенный дом, от всех отличающийся.

-- Почему же ты так думаешь? -- удивлённо спросила, услышав от меня об этом, Антония.

-- Как же! -- отвечала я. -- Да я ведь в нём родилась!

-- Ну, так что же? -- рассмеялась она к моему большому смущению и досаде. -- Ты что же за диво такое?.. Каждый человек родился в каком-нибудь доме, а дома-то всё же оставались обыкновенными домами и нисколько не изменялись.

Такой взгляд на вещи меня озадачил, и я перестала говорить об этом доме, но всё-таки, про себя, интересовалась им.

Когда пришлось расставаться, все были очень печальны, так что и я приуныла, глядя на бледную, больную маму и на встревоженное лицо папы, по которому одна за другой катились слёзы: как он ни старался незаметно стряхнуть их, они скатывались по длинным усам его на грудь.

Много дней мы тащились по холоду и грязи. Мама была печальна и больна, и всем нам было очень скучно. Я очень удивилась и огорчилась, в первый раз увидев море. По рассказам домашних более чем по своим собственным воспоминаниям, я представляла себе море чем-то светлым, блестящим, чудно красивым; и вдруг увидела сквозь туман и дождь что-то такое мутное, серое, далеко разбегавшееся сердитыми, белыми волнами, которые сливались с таким же как оно, взбудораженным тучами, тёмным небом.

-- Что это такое? -- огорчённым голосом восклицала я, стоя у поднятого окна кареты, в которое хлестали ветер и дождь. -- Разве такое море?.. Море голубое, светлое! Оно переливается и блестит на солнце, -- а это?.. Шевелится себе какой-то грязный кисель. Вон: колышется, возится, ходит... Словно белые бараны по грязи бегают...

Мама засмеялась, тихонько потрепав меня по надутой щеке.

-- Скажите, пожалуйста! -- сказала она. -- Тоже света и блеска захотела... Ах, ты поэтическая натура!.. Погоди: насмотришься, даст Бог, и на светлые дни... да не обойтись и без серых!.. Дай только тебе Бог поменьше их на своём веку видеть!..

Мама вздохнула, и я не посмела спросить её, хотя не поняла её слов. Антония тотчас ко мне наклонилась и тихонько начала объяснять, что море не всегда одинаково; что в первый же ясный, солнечный день я не узнаю его, -- такое оно будет яркое и красивое.

-- Ты лучше сюда посмотри! -- дёрнула меня за рукав Елена, смотревшая в другую сторону. -- Вот и Одесса показалась. Видишь? Церкви, дома!

И мы занялись новым, красивым городом, многолюдными улицами, высокими домами.

Мама бедная так утомилась дорогой, что пролежала несколько дней по приезду. Скоро, однако, она почувствовала себя гораздо лучше и бодрее и встала. Мы с нею иногда гуляли и ездили кататься на берег моря, которое я действительно не узнала, в первый же весенний денёк.

У мамы в Одессе было много хороших знакомых. Больше всех я полюбила семейство Шемиот, старых приятельниц моих родных. Вся семья состояла из старушки матери и трёх уже взрослых дочерей: Бетси, Женни и Евлалии. Они были удивительно милые, весёлые и гостеприимные хозяйки и к тому же варили чудесные варенья, что немало способствовало моей личной приязни.

К нам также очень часто приходил один высокой старик, генерал Граве, с длинными-предлинными усами. Он был предобрый; всегда ласкал меня, называл своей невестой и рассказывал часто разные занимательные истории, пока я сидела у него на коленях и заплетала ему усы. Усы у него были необыкновенно длинные!

Он обещался непременно отрезать их и к Пасхе заказать из них парик мисс Долли, -- моей безносой кукле, чему я ужасно радовалась.

Раз Антония, войдя в комнату, увидела такую сцену: я примостилась на коленях генерала, заплела ему из усов косы и, сложив их в корзиночку, по тогдашней моде, приколола шпилькой, помирая со смеху над его причёской!.. Он тоже смеялся моему веселью, но Антония не засмеялась.

-- Что ты делаешь, Вера?.. -- вскричала она в негодовании. -- Большая семилетняя девочка садится на колени к гостям?.. Встань сейчас же, и чтоб этого никогда больше не было!

Я встала очень сконфуженная. Переконфузился и мой старичок, не зная, что ему делать: смеяться или расплести свои усы?.. Наконец, он сделал и то, и другое вместе и сказал:

-- Вы, Антония Христиановна, уж слишком строги. У меня такие внуки есть как Верочка.

Уходя поспешно из гостиной, я услышала, что и Антония засмеялась и отвечала совсем не сердитым голосом:

-- Извините меня, пожалуйста, генерал! Вас это, разумеется, не касается; но она -- ребёнок и не поймёт разницы обращения с людьми... А между тем в этом именно возрасте и прививаются легче всего привычки. Ей таких фамильярностей позволять нельзя.

С этого дня я больше уж никогда не садилась на колени к мужчинам и не плела кос из усов.

В то же почти время мне ещё раз крепко досталось от Антонии. И за дело! Вот что случилось.

Мои шалости и прегрешения

Были мы в гостях у Шемиот. Мама с Антонией, взяв нас с собою, оставили у них, а сами пошли, с Бетси, в лавки. Мы играли в разные игры, и, наконец, Лёля вздумала костюмироваться. Она сделала себе маску с бородой и надела капот старушки Шемиот; а меня Евлалия нарядила в рубашку и поддёвку своего племянника. Я всё смотрела в зеркало и объявила, что мне очень бы хотелось остаться так навсегда. Все нашли, что я -- отличный мальчишка, и Евлалия с Женни решили не раздевать меня до прихода наших из лавок. Лёля же начала упрашивать их идти навстречу к ним, не раздевая меня.

-- Как это будет весело! -- кричала Лёля. -- Мама ни за что её не узнает! Пожалуйста, пожалуйста, пойдёте, душечки мои!

-- Что же?.. Пожалуй, пойдёте, -- отвечала Женни.

-- Чтоб только мама ваша не рассердилась, -- нерешительно переглянувшись со своей сестрой, заметила Евлалия.

-- Ну, вот ещё! Чего маме сердиться? -- бойко возразила Лёля. -- Она ещё посмеётся, что Верочка сделалась таким славным мальчиком.

-- А Антония что скажет? -- спросила я со страхом, невольно вспоминая нотации о приличиях и укоры по поводу моего нескромного поведения.

-- Что же Антония? Ничего она ровно не скажет!.. Важность какая! Отчего же не пошутить маленькой девочке?..

-- А может быть это неприлично, -- важно сказала я.

Но тут все расхохотались над тем, что я говорю точно большая, расцеловали меня и повели с собою.

Сначала мне очень неловко было идти мальчишкой по улицам: мне всё казалось, что все на меня смотрят, и все узнают. Но мало-помалу я ободрилась, а когда мы пришли на бульвар, и я встретила целую толпу детей, где много было знакомых, то я так разыгралась, что совершенно забыла о своём костюме, а Женни даже пришлось меня просить не входить так хорошо в роль мальчишки-шалуна. Евлалия с Лёлей пошли искать маму и Антонию в магазинах Пале-Рояля одни, потому что я ни за что не хотела прерывать своих игр. Вдруг, кто-то из мальчиков сдёрнул у меня шапку и побежал. Я, разумеется, за ним, с полным намерением догнать и хорошенько отделать своего врага. Мальчик был старше меня и бежал скорее. Иногда он останавливался, чтоб подразнить меня, и снова бросался бежать с моей шапкой. Мне бы никогда не догнать его, если б какой-то встречный господин, желая вероятно услужить мне как меньшему и обиженному, не задержал его...

Запыхавшись, растрёпанная и вся выпачканная в сыром песке, потому что только что упала на бегу, я добежала до барахтавшегося в руках господина мальчишки, с решительно поднятой рукой, готовясь ударить его изо всей силы, как вдруг надо мной раздались восклицания:

-- Господи, помилуй!.. Да что же это такое?.. Ведь это Верочка!..

-- Как Верочка?.. Где?..

Я окаменела... Руки у меня опустились, и вся красная от усталости, гнева и стыда, я не смела взглянуть на стоявших предо мною маму и Антонию.

Они не встретились с Женни, не видали Елены с Евлалией и, ничего не зная, решительно не могли понять, что значит моё появление на бульваре в мальчишечьем костюме?..

Мой обидчик, воспользовавшись общим смятением и удивлением господина, заступившегося за мальчишку-буяна, вдруг оказавшегося барышней Верочкой, вырвался из рук его и убежал, бросив мою шапку на землю. Я всё стояла молча, растерянным взглядом ища своих сообщниц, которых не было нигде видно. Наконец и Антония, и мама быстро подошли ко мне; приглядываясь, ещё не веря своим глазам, и вопросы посыпались на меня как град.

-- Откуда ты?.. Что это значит?.. Зачем ты так оделась?.. С кем ты пришла сюда?..

-- Я... с Женни... с Евлалией и Лёлей... -- чуть слышно отвечала я, едва сдерживая слёзы.

-- Да где же они?.. Зачем тебя одели мальчиком?..

-- И привели сюда, -- сердито прервала маму Антония. -- На бульвар! И оставили тебя одну, и ты тут дерёшься?..

-- Оставьте её!.. После! -- тихо сказала ей мама и, взяв меня за руку, велела надеть свою шапку и, едва сдерживая улыбку, отвела в сторону от окружавшей нас публики.

Немного ободрённая, я рассказала всё последовательно и повела их к дальней скамейке, на которой отдыхала Женни Шемиот. Пока мы шли, мама смеялась и уговаривала Антонию не сердиться... Но, несмотря на мамины просьбы, Антония крепко побранилась за это с обеими сёстрами; а уж мне с Лёлей и говорить нечего, как дома досталось. Кроме глупого, неприличного переодевания, я ещё могла до того забыть, что без всякого стыда чуть-чуть не подралась с каким-то мальчишкой, на глазах у всех, среди бульвара!.. Я сама не могла понять, что это со мною сделалось?.. Очень долгое время потом я не могла вспоминать об этом **ужасном** происшествии иначе, как вся вспыхнув от стыда.

Как ни стыдно мне, -- но я должна сознаться здесь ещё в одном своём великом прегрешении, -- гораздо худшем, чем эта шалость.

Раз мы пошли гулять, Лёля и я с мисс Джефферс. Ей понадобился замок; она повела нас в ряды и зашла в железную мелочную лавочку. Пока она выбирала замок, я с сестрой остановилась у дверей, где были поставлены ящики, а в них насыпаны гвозди, разных величин кольца и разные металлические мелочи. Между ними и увидели какие-то остренькие крючочки, о двух концах, которые мне показались такими странными, что я спросила, -- на что они?

-- Как?.. Ты не знаешь? Это же удочки, -- объяснила мне Лёля. -- Вот, которыми ловят рыб.

-- Из моря? -- спросила я.

-- Из моря, из рек, -- отовсюду. Вот, -- как приедут сюда наши из Саратова, да поедem мы с бабочкой в её деревню, которая здесь, близко, -- помнишь мама рассказывала?.. Там есть пруд, где много-много карасей. Мы тоже будем ловить их такими удочками.

-- Да как же такими коротенькими?

-- Глупости! Так ведь их же привязывают к длинному шнуру, а шнурок -- к длинному-предлинному пруту. Тогда на крючок сажают приманку: говядины кусочек, мушку или червячка и закидывают крючок как можно дальше от берега. Вот рыбка завидит добычу на воде, а человека-то ей не видно. Подплывёт она, схватится за неё, да сама, глупая, и попадётся!.. Уж с этого крючка ей не уйти!.. Видишь, как он устроен?

Лёля показала мне устройство удочки и отошла; а я начала мечтать, как бы хорошо было, если б у меня была такая удочка. Я бы тоже ею рыбок ловила!.. Шнурочек и прут всегда можно найти, а вот удочки такой -- сама не сделаешь!..

-- Лёля! Как ты думаешь, сколько стоит такая удочка?

-- О, вздор какой-нибудь! Я думаю их две или три на копейку дают.

-- А у тебя нет копейки?

-- Нет!.. Да на что тебе?.. Ведь мы ещё в деревню не едем.

И она отошла.

"В деревню не едем!.. А разве здесь, в море нельзя ловить?.. Вот, должно быть, приятно поймать рыбку!.. Я бы так рада была!.. А вот одна удочка упала... На полу лежит. Что ж? Значит, я могу её поднять?.. Всё равно, что нашла... Она всё равно затеряется, -- такая маленькая... Упадёт в щель -- и пропадёт! Непременно, непременно пропадёт. Стоит её немножко ногой толкнуть -- и нет её! Лучше ж я её подыму... Их здесь такая гора! На что купцу эта одна, маленькая удочка?"

-- Come, little one! -- услышала я голос англичанки, -- пойдёмте домой. Что вы там засмотрелись? Идёмте, дети, пора.

-- Сейчас! -- вскричала я нагибаясь. -- Я только поправлю ботинок.

Я пригнулась к полу, поправила обувь, которая в том совсем не нуждалась, захватила с полу крючочек и, сжав его в руке, вся красная, побежала вслед за сестрой и гувернанткой.

-- Отчего ты такая красная? -- удивилась сестра.

-- Не знаю, -- солгала я. -- Мне жарко!

Но только что мы пришли домой, я сама себя выдала с головою. Совсем позабыв, что воры должны быть осторожны, размечтавшись о том, как я буду рыбу удить, я сейчас же бросилась хлопотать, чтоб достать длинный прут, верёвочку, а главное, -- мастера, который бы мне устроил это орудие для будущего **улова** морских рыб.

"Надо попросить Аксентия! -- думалось мне. -- Он -- повар! Он должен, наверное, уметь сделать удочки!"

Почему мне так казалось, что повар должен быть рыболовом? Сама не знаю!.. Но так я решила и тотчас хотела бежать на кухню. Но на мою беду увидела меня Антония.

-- Véra!.. Où courez vous ainsi?.. Куда это вы бежите в шляпке, совсем одетая?

-- А в кухню! -- ответила я весело, привыкнув всегда говорить правду.

-- Зачем?.. Что вам делать на кухне?!

Я стала в тупик, сообразив, что сглупила, так как тут же была Лёля, да и мисс Джефферс остановилась в следующей комнате и вошла к нам, в то самое время, как я, путаясь и страшно краснея, объясняла своё намерение Антонии, а сестра смотрела на меня, улыбаясь и укоризненно качая головой.

-- Удочку?.. На что тебе удочка? -- говорила Антония. -- И где ты взяла этот крючочек?.. Покажи. Им можно страшно наколоться!.. Кто тебе его дал?

-- Никто не давал... я... я...

-- Как же никто!?. Где же ты взяла его?

Тут подошла англичанка и подозрительно перекосила глаза на мою удочку, которую Антония рассматривала.

-- What's that? -- спрашивала она.

-- Это удочка, которую Вера принесла из лавок, -- отвечала Лёля, по-английски, улыбаясь.

-- A fish-hook? -- протянула та. -- Откуда же она взяла удочку?..

-- Я не знаю!.. Там, в лавке, много их было.

-- Что ты говоришь, Лоло? -- обратилась к ней Антония, не понимая.

Но я вдруг рассердилась, ожидая, что Лёля скажет и ей, откуда у меня этот противный крючочек, и поспешила сказать, что я его подняла, -- нашла на земле.

-- На земле?.. На улице? -- строго переспросила Антония.

-- Нет! -- прошептала я чуть слышно. -- В лавке!

-- Oh! For shame! -- вскричала мисс. -- Скажите же, Miss Lolo, скажите, что там в лавке продавались такие крючки, и что эта негодница (this wretched little thing) просто его украла!

При этом слове, -- впервые прямо назвавшем мне, **что** я действительно сделала, -- я так и залилась слезами, бросившись лицом в колени своей Антонечки. Я знала, какой ужасный грех и стыд -- воровство и теперь искренно была убеждена, что погибла!.. Антония меня не утешала. Напротив -- она очень строго и сурово меня пристыдила, и чтобы навеки запечатлеть в моей памяти раскаяние в моём постыдном поступке, она решила, что я сейчас же возвращусь обратно в лавку и отдам сама эту злополучную удочку продавцу, извинившись в своём "воровстве"...

Ох!.. Вот этот эпилог моего преступления был долго ужаснейшим воспоминанием моего детства!.. Но, зато, он навеки, с корнем вырвал из меня малейшее поползновение покушаться на чужую собственность, будь то простая булавка.

О, Господи! И поныне не забыла я насмешливо жалостливой усмешки, с которой на меня глядел старик-еврей, продавец железных изделий, пока я ему объясняла свой казус: "Не знаю, -- де, -- как это случилось, что я **занесла** удочку... Вероятно, за рукав мой она зацепилась!.."

И представьте себе мой стыд, когда беспощадная мисс Джефферс, поняв мою хитрость, перебила меня восклицаниями.

-- О, no! О, no! It was not so! -- опровергала она решительно мои показания. -- Это не так было! Не лгите, мисс Вера!.. Это ещё стыднее: красть и потом лгать!.. Ай-ай! Какой стыд!..

Да! Это был действительно ужасный, и слава Богу -- единственный стыд такого рода, в моём детстве. Никогда я более не совершала такого великого греха.

— О, no! О, no! It was not so! опровергла она решительно мои показанія: это не такъ было! Не лгите, миссъ Вѣра!.. Это еще стыднѣе: красть и потомъ лгать!.. Ай-ай! Какой стыдъ!..

Да! Это былъ дѣйствительно ужасный и, слава Богу —единственный стыдъ такого рода, въ моемъ дѣтствѣ. Никогда я болѣе не совершала такого великаго грѣха.

XXXVІІ.

И радость и горе.

Презъ мѣсяцъ или два по прїѣздѣ въ Одессу, мама объявила намъ, что къ намъ сюда ѣдутъ изъ Саратова всѣ наши родные. Ужъ какая это была радость — я и сказать не могу! Наша бѣдная, дорогая мама, которая все это время то управлялась, то вдругъ опять заболѣвала, разомъ ожила и повеселѣла. Въ свои хорошіе дни она хлопотала, искала квартиры, гдѣ бы папѣ-большому, бабочкѣ и всѣмъ было просторно и удобно помѣститься. Такое помѣщеніе, наконецъ, нашлось, немного далеко правда, но мама была этому рада: подальше отъ цыли, отъ стука

экипажей и шума. При этой квартирѣ былъ, ужъ не помню, садъ-ли, или просто дворъ засаженный, но только оттуда былъ видъ на море, которое все больше и больше мнѣ нравилось. Я ужасно любила смотрѣть на суда, на лодки, качавшіяся по волнамъ, быстро ихъ разсѣкая; на многоэтажные бѣлокрылые паруса барокъ, надутые вѣтромъ, какъ пузыри, и особенно на красивые пароходы, за которыми разстилались два хвоста: сверху, по воздуху, черный дымъ, а внизу, на волнахъ, бѣлая пѣна отъ колесъ, расходившаяся серебристымъ кружевомъ и брызгами. А въ темные вечера за пароходами разстилались огненные хвосты искръ и всѣ они свѣтились яркими, разноцвѣтными огнями люковъ и фонарей, красиво отражавшихся въ темномъ морѣ... Чего только, какихъ сказокъ не сочиняла я самой себѣ, любуясь этимъ зрѣлищемъ!



Болѣзнь мамы рѣдко теперь позволяла Антоніи оставлять ее, но иногда она приходила посидѣть со мною, полюбоваться моремъ и тогда я по старой памяти засыпала ее вопросами. Предметовъ разговора было множество! И солнце, спускавшееся

Через месяц или два по приезду в Одессу, мама объявила нам, что к нам сюда едут из Саратова все наши родные. Уж какая это была радость -- я и сказать не могу! Наша бедная, дорогая мама, которая всё это время то оправлялась, то вдруг опять заболела, разом ожила и повеселела. В свои хорошие дни она хлопотала, искала квартиру, где бы папе большому, бабочке и всем было просторно и удобно поместиться. Такое помещение, наконец, нашлось, немного далеко правда, но мама была этому рада: подальше от пыли, от стука экипажей и шума.

При этой квартире был, уж не помню, сад ли, или просто двор засаженный, но только оттуда был вид на море, которое всё больше и больше мне нравилось. Я ужасно любила смотреть на суда, на лодки, качавшиеся по волнам, быстро их рассекая; на многоэтажные белокрылые паруса барок, надутые ветром как пузыри, и особенно на красивые пароходы, за которыми расстилались два хвоста: сверху, по воздуху, -- чёрный дым, а внизу, на волнах, -- белая пена от колёс, расходившаяся серебристым кружевом и брызгами. А в тёмные вечера за пароходами расстилались огненные хвосты искр, и все они светились яркими, разноцветными огнями люков и фонарей, красиво отражавшихся в тёмном море... Чего только, каких сказок не сочиняла я самой себе, любуясь этим зрелищем!

Болезнь мамы редко теперь позволяла Антонии оставлять её, но иногда она приходила посидеть со мною, полюбоваться морем, и тогда я по старой памяти засыпала её вопросами. Предметов разговора было множество! И солнце, спускавшееся к золотисто-красным облакам, уходившее за море, им же окрашенное в пурпур и золото. И светлый месяц, который то серебрил всё море, рассыпая по мелкой ряби свои лучи, то одним цельным блиставшим столбом падал в глубь, перерезав всю бухту. И небо, и земля, и море, -- всё меня окружавшее неустанно задавало мне тьму вопросов, за решением которых я привыкла обращаться к Антонии. Иногда она беседовала со мной охотно; но чаще слушала рассеянno, глубоко задумываясь, и не раз я ловила её слёзы, как незаметно ни старалась она отереть их...

-- Pourquoi pleurez vous, Antonie?.. [*Почему ты плачешь, Антония?.. - фр.*]
-- спрашивала я иногда, и тут же сама отвечала. -- Знаю! Вы плачете, потому что мама больна.

И самой мне становилось так тяжело на сердце, и я начинала вместе с нею плакать...

Обнимет она меня бывало крепко-крепко и скажет:

-- Oh! Que je voudrais que votre grand-maman vienne plus vite!.. [*О! Я хочу, чтобы ваша бабушка быстрее приехала!.. - фр.*]

Я сама хотела этого!.. Мы все, начиная с мамы, ждали и дожидаться не могли приезда милой, дорогой бабушки. Нам всем казалось, что с приездом родных всё поправится, и мама скорей выздоровеет.

Глядя на неё, как она со всяким днём менялась, худела и ослабевала, я часто задумывалась и хоть не имела никакого ясного понятия о смерти, но безотчётно пугалась и плакала. Раз, когда целый день мы не видали мамы, я села у дверей её комнаты и не хотела ни обедать, ни чай пить, ни идти спать, пока меня не впустили посмотреть на неё. Она лежала бледная, слабая в постели, но улыбнулась мне и притянула к себе. Расцеловав её, я улеглась в ногах на её кровати и так и заснула...

Чаще и чаще приходили такие дни, что нас не пускали в комнату мамы, а она давно сама из неё не выходила. Мы видели докторов, проходивших к ней и выходивших от неё с серьёзными лицами.

Мы жадно прислушивались к говору домашних, но все умолкали, завидев нас, а мы как настоящая дети часто развлекались и забывали горе и страх за нашу маму.

И вдруг, в один чудесный весенний день, приехали наши давно жданные, дорогие родные, и маме сделалось, в самом деле, гораздо лучше. То-то были радость и счастье! То-то наступили ясные, безмятежные дни! Эта счастливая весна и до сих пор вспоминается мне таким радостным золотым временем моего раннего детства, какого я никогда уж более не переживала!.. Словно этот цветущий, яркий май был дан нам в последнее воспоминание о счастливой жизни нашей с мамой. Ей стало так хорошо, что все за неё успокоились, даже большие; нашему же детскому счастью и пределов не было. Я постоянно торжествовала! С утра просыпалась я с мыслью о своём счастье; о том, что здесь, со мною все те, кого я люблю, -- особенно моя добрая, несравненная моя баловница, бабочка, -- и день мой весь проходил в непрерывном веселье.

Об уроках не было и помину! Бабочка как приехала, сейчас объявила, что летом уроков не бывает. День наш начинался играми в саду, прогулками на бульвар на берег моря или в лавки, откуда мы возвращались всегда с игрушками и лакомствами, -- совсем как в Саратове! Почти всякий день мы ездили купаться, и я с этих пор полюбила купанье в море больше всех других удовольствии. Как весело бывало лежать у самого берега на мокром песке и собирать раковины и пёстрые камушки в ожидании, что вот-вот прихлынет прозрачная, кипучая волна, приподымет легонько и отбросит на два-три шага вперёд, залив всё белой шипучей пеной. Отхлынет бурливая волна, вскочишь и бежишь за нею по открытому берегу и снова ложишься, и ждёшь, замирая, нового прибоя, с ужасом оглядываясь на подступающий грозно вал, хотя прекрасно знаешь, что он не потопит, а только оторвёт от земли и мягко отнесёт на прежнее место. А сколько, бывало, волнений и страхов! То поймает блестящий морской кисель, прозрачный как стекло; то попадётся зелёная креветка; а то вдруг померещится поблизости морской рак или чёрная безобразно распластанная каракатица!.. Тут-то подымутся шум, крик!.. Конца нет смеху и шалостям.

Я была ужасная трусиха: не могла видеть, когда бабушка или тёти отплывали далеко... А они очень любили плавать и плавали отлично и смело. Надя взялась было учить и нас. С Лёлей уроки шли превосходно; но я и слышать не хотела!.. Мне несравненно больше нравилось плавать по-своему: лёжа у бережка, держась за землю, ждать прибоя.

Я столько собирала "драгоценностей" на дне морском, что у меня дома были целые коллекции ракушек, трав и разноцветных камней.

Вернёшься, бывало, с купанья усталая, но такая сильная и здоровая, что чудо! На балконе или в нашем большом светлом зале накрыт уже чайный стол. Мама сидит в большом кресле, издали улыбается и спрашивает: "Как гуляли? Кого видели? Хорошо ли купались?.."

Весело болтая, напьёшься чаю; а там, присядешь на колени к бабушке и, несмотря на восклицания Антонии, что это стыдно, что бабушке тяжело, - так славно, уютно примостишься к ней; так сладко задремлешь, положив голову на плечо её, под нежную её, ласкающую руку, прислушиваясь к её речам.

-- Вот, как поправится мама, -- тихо рассказывает бабушка, -- мы все поедem ко мне в деревню, -- недалеко отсюда. Поживём там немножко; будем ловить в пруду карасей, собирать клубнику, варенья наварим... А там даст Бог, мама совсем выздоровеет и поедem мы все назад в Саратов! Дача наша милая уж давно нас ожидает!.. А девочки-то наши знакомые: Клава Гречинская, Катя Полянская, как обрадуются тебе! Прибегут навстречу, принесут все свои куклы! Вот будет всем вам веселье!

Слушаешь, бывало, в сладкой дремоте эти рассказы и не знаешь, точно ли это говорить милая бабушка, или снятся такие славные, золотые сны?

И точно, дети, это счастливое время, данное нам Богом пред величайшим несчастьем, пред вечной разлукой с дорогою нашей матерью, было похоже на сон и в моей памяти так и осталось навеки золотым, волшебным сном, который закончил моё раннее детство...

Теперь вы знаете, что было, когда я была совсем маленькой... В другой книге я расскажу и о том, что было со мной дальше, когда я стала постарше и поумнее, чем в эти ранние, счастливые года золотого детства. Я думаю, что читать *правду*, -- как и рассказывать её, занимательнее, чем слушать вымысел; а потому и надеюсь, что не надоем вам своими невыдуманными воспоминаниями.

Источник: Желиховская В. П. Как я была маленькой. -- СПб.: Издание А. Ф. Девриена, 1898.

OCR, подготовка текста: Евгений Зеленко, октябрь 2014 г.

БОРОЗЬЕВЪ.